

св ященник

Владимир Зелинский

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИМЕНИ



В З Ы С К У Я

Л И Ц А

Т В О Е Г О

Владимир Зелинский

**Благословение имени.
Взыскупя лица Твоего**

«Алетейя»

Зелинский В. К.

Благословение имени. Взыскупя лица Твоего / В. К. Зелинский —
«Алетейя»,

ISBN 978-5-907189-57-7

В каждую минуту в каждом слове, каждом явлении природы и человеческого общения автор прочитывает небесное присутствие, проступающее лицо Бога, Который познает нас, как мы познаем Его, Который вглядывается в нашу свободу и, как добрый пастырь, ни минуты не теряет нас из виду. Книга для широкого круга читателей. Иллюстрации Е. Ю. Андреева.

ISBN 978-5-907189-57-7

© Зелинский В. К.

© Алетейя

Содержание

От слова до Слова	6
Вводное слово: первый контакт	9
I. О познании Бога	11
Море, свеча, взгляд	11
Таинство иного	15
Рана, которая делает нас людьми	18
II. И увидел Бог...	22
Источник Живого, Видящего меня... 4	22
Гостеприимство взгляда	27
Несведущая мудрость детства	31
III. Вымолвить: Бог	36
Родина слова	36
Приглашение, вырезанное на камне	41
Вещество молний	44
IV. Молиться Богу	48
Искусство быть малым	48
Повиноваться молитве	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Владимир Зелинский
Благословение имени. Взыскуя лица Твоего

*архимандриту Габриэлю Бунге, который отважился жить так,
как я решился мыслить*

От слова до Слова

Верую, Господи!

Помоги моему неверию (Мк. 9, 24).

Один из замечательных, теперь уже покойных, поэтов сказал, что высокая поэзия узнается просто: достаточно прочитать оглавление книги. Первые строки стихов скажут все. И даже если текст будет утрачен, вы будете вправе заключить – высок или обыкновенен был дар автора утерянного текста. Я много раз имел возможность проверить это – закон был ненарушим. Ну а уж коли он закон, то, значит, распространяется не на одних поэтов. Посмотрите оглавление этой книги, и вы увидите, как рука сама потянется скорее обернуться к соответствующим страницам. В самих именах глав таится повод к медитации (в высоком единичном христианском значении этого слова), будь это «Море, свеча, взгляд» или «Рана, которая делает нас людьми». И сами главы, пока они шли ко мне от автора электронной почтой, звались медитациями. И были ими. Такой они требовали уединенной тишины, духовной сосредоточенности, сердечной открытости и молитвенной собранности. Такой требовали внутренней полноты и предстояния перед Богом.

Такие книги не перелистываются наспех и не читаются на ходу. Даже и внимательное их чтение не может быть длительно. Всякая глава так полна, так значительна, так прожита в опыте, культуре, Церкви, что и от тебя, какого бы ты ни был церковного, светского, интеллектуального опыта, требует всей любви, памяти, исповедной открытости, послушания власти Истины и дерзновения в Ее взыскании. Как этого требует молитвенное правило нашей Церкви: «Подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное», тогда и читай «без поспешности, со вниманием сердечным».

Только тут «земное» не надо оставлять, ибо о земном-то как раз и речь – о его пресуществлении, преображении, небесной перемене, потому что куда денешь долгую школу знания, культуры, истории. Мы уже научились выпускать книги, которые делают вид, что Церковь незыблема, что она всегда стояла в покойной твердости и не знала искушений, что в ней и сейчас надо только стоять со вниманием и не искать своего, поменьше вопрошать и побольше слушать. И мы уже знаем, как опасны эти самонадеянные книги, ибо закрывают церковную ограду для целого человечества, возможно, самых зрелых и необходимых Церкви детей, заточая в этой ограде и Самого Христа от сердец, которые не боятся глядеть на Истину как на солнце – открытыми глазами.

Эта книга, как говорит автор, выросла из его же давней, написанной еще мирянином книги «Открытие Слова». Я знал ее еще в рукописи, писал о ней, когда она вышла, радовался как опоре в сомнении и поиске, шел с нею в церковь и стоял там тверже. В авторском послесловии к ней, вспоминая тяжелые годы преследования и молодого исповедничества (а оно в полной мере выпало поколению христиан, пришедших в Церковь в 60-80-е годы) он писал о том, чего искало это новое тогда христианство, во многом подготовившее и сделавшее возможным празднование тысячелетия крещения Руси. О том, что этому поколению казалось существенным на новом историческом пороге: «Церковь нуждается в культуре, чтобы заговорить на языке людей, прошедших историю, сохранивших память о ней, вошедших в современность со всеми своими поисками, мудростью, творчеством, заблуждениями, отложившимися в опыте. Можно возразить, что Церковь не мерит себя современным сознанием, но если наша эпоха для нее заблудившаяся овца, то именно она, Церковь, должна отправиться за ней, оставив в вечности девяносто девять других».

Мы уже знаем, что Церковь не отправилась за этой одной овцой, предпочтя девяносто девять послушных. И тогда искатели сами стали Церковью, как стал священником отец Влади-

мир Зелинский, чтобы задать свои вопросы перед престолом Господним, в Литургии и Евхаристии. Новая книга это и есть служение, глубоко сосредоточенное «Твоя от Твоих». Так служат Литургию священники и владыки, когда надо «вопрос разрешить» (скажем, словом Достоевского). А «вопрос» все тот же старинный, у каждого свой и всеобщий – как сделать веру источником познания и не найти в этом противоречия. Как, если воспользоваться образом первой главы, осветить море свечкой и не только не отчаяться, но войти в радость единства со всем Господним миром.

Как далеко ушел священник Владимир Зелинский от мирянина Зелинского, как очевиден в книге долгий путь веры, и вместе как он трепетно бережен ко всякой беспокойной мысли! Это все тот же вопрошающий ум, но это уже диалог, в котором отчетливо слышен голос Того, Кто в каждом из нас был прежде нас. Книга вся не поучение, а вслушивание, вся «на цыпочках», ибо знает, что голос Господень не в шуме ветра, не в громе и молнии, а чаще в последнем, очищенном от слов молчании, когда в тебе умолкает твое и ты делаешься прозрачен для Другого.

Правда, как и поэзия, узнается по красоте, по ее слепящей очевидности. Я часто думал, что образность опасна и сравнение грешно, ибо у Бога все единственно и одно нельзя подставить вместо другого. Но теперь ясно вижу, что уподобление не подмена, а взаимное озарение, когда явления мира в подобии узнают Создателя в другом облике и удивляются родному как новому богатству, как новой стороне мира. И читаю, как хожу по Господнему саду и вместе с автором учусь радоваться другому, даже если это атеист, игрок смыслов, турист по религиям, коллекционер святынь, потому что и в них отражение Бога. И даже в богоборчестве, как верно пишет отец Владимир, «есть тоска или ревность по Богу, причиняющая нам боль, из которой тоже растет понимание». «Вся тварь, – по слову автора, – глядит на нас глазами Господа и просится в гости, дабы поселиться в раю единства».

Тут почти в каждой странице видно, что правда прекрасна, и она сама находит себе слова, которые так «легки», что, кажется, давались автору готовыми и ему оставалось только записывать их. Я не хотел цитировать, ведь книга вот она – перед читателем, зачем отнимать у него радость собственного открытия. Но что поделаешь с эгоизмом первого чтения, когда хочется останавливать прохожих за рукав: «Послушайте!». Ведь ясная мысль небесна, она «ничья» и ею хочется обняться скорее. И я зачем-то выписываю и выписываю на отдельный листок.

«В каждом ребенке творение повторяется, потому что Господь рассказывает о себе по-новому».

«Всякое имя подобно ответу на неслышный зов. Когда мы произносим «дерево» или «река», не выдаем ли мы друг другу секрет, который Бог вложил в них и в нас? Он заключил нас в общение друг с другом».

«Не бывает мастеров молитвы, есть лишь мастеровые, ремесленники, «рабы неключимые» (Лк. 17, 10), которые тоже устают, изнемогают, унывают, как и все мы. Но иногда в момент усталости, или даже отчаяния, стена падает, дверь открывается и Дух входит в нас – пусть лишь не больше, чем на мгновение – для того, чтобы научить нас безмолвию радости, молчанию полноты».

«Все в мире приветствует, прощается и откликается любви, вложенной в творение. И когда откликаюсь, поворачиваюсь к Тому, Кто зовет».

И вот это – ужасное в своей глубине – на полях Евангелия:

**«Унесли Господа из гроба, и не знаю, где
положили Его». Его положили в тебя**

В каждую минуту в каждом слове, каждом явлении природы и человеческого общения автор прочитывает небесное присутствие, проступающее лицо Бога, Который познает нас, как

мы познаем Его, Который вглядывается в нашу свободу и, как добрый пастырь, ни минуты не теряет нас из виду, хотя нам может казаться, что колышек вытасчен и нас ничто не связывает с Ним.

Отец Владимир и свою жизнь читает и видит так и свидетельствует прежде всего о собственном опыте, что и придает книге страшную напряженность и убедительность. Иногда, когда читаешь более главы подряд, может показаться, что он повторяется, поворачивает к свету одну и ту же мысль. Но ведь и Литургия за малым исключением всякое воскресение одна, а пресуществление все единственно. Вот и тут каждый взгляд и на одно имя – все к центру тайны и света, к Тому, Кто обитает «по ту сторону наших сроков», но всегда и сейчас, и всегда впереди. Как всегда впереди Отцы Церкви, которых о. В. Зелинский часто цитирует и которые тоже словно поворачиваются в контексте новой стороной, полной поэзии и отваги, обнаруживая молодую смелость первых веков нашей веры. Кому бы сегодня, к примеру, хватило дерзости сказать то, что сказал Максим Исповедник: «Всякая верующая душа зачинает и порождает слово Божие по своей вере. Христос – плод всех нас, все мы – матери Христовы». Поневоле вспомнишь, что на вопрос, обращенный к Серафиму Саровскому: почему современники не делаются святыми, он ответил: «Им не хватает решимости».

Зелинский – хороший ученик Отцов в свободе и доверчивости. Он одинаково слышит земную и небесную стороны мира, священную и житейскую истории, которые расходятся, когда мир перестает видеть Христа. Потому отец Владимир так настойчиво и напоминает нам, что «Слово, зачавшее нас, хочет жить в нас и стать нами», чтобы мы не бежали так бездумно, опаляемые тревогой, как часто бежим сегодня, потеряв цель, забыв, как с горькой улыбкой говорил Гессе, «азбуку и таблицу умножения» – простые и спасительные основы мира.

Автор сзывает в союзники и собеседники мировую поэзию и мысль, и они тоже пронизываются Господним светом – Хлебников и Пастернак, Фет и Бродский, Аристотель и Кант, Толстой и Достоевский, без противоречия соседствуя с блаженным Августином и Иринеем Лионским.

Слово по слову книга становится местом встречи нас и Сотворившего нас. И мы, уже порядком измученные «житейским морем, воздвигаемым напастей бурей», сходим на берег веры с ее твердыми очертаниями закона и пророков, писания и предания, которые, оказываясь, матерински-естественно содержат в себе и поиски нашего разума, и великую культуру, и поражения и победы истории.

Так приходят домой, где нас ждут и любят.

Валентин Курбатов

Вводное слово: первый контакт

*Благослови, душе моя, Господа и вся внутренняя моя – имя святое
Его...
(Пс. 102, 1)*

Первый контакт с Богом начинается с благословения имени. Имя означает Его близкое присутствие, которое обращено к нам. И когда мы узнаем его, то благословляем, – не только словом и разумом, но и зрением, слухом, дыханием, сердцем, «утробой». Как живое растение пребывает в «диалоге» с солнцем, влагой и воздухом, так и человеческое существо, еще до пробуждения мысли, обращено к Непостижимому. Существою, значит, зову: *Яви нам свет лица Твоего, Господи!* (Пс. 4, 7).

Когда Писание говорит о *лице Божию*, что оно разумеет? Можем ли мы увидеть Того, Кто незрим? И все же Его лицо предстает знакомым, родным. Оно запечатлено не столько в семейных традициях или в тонких доказательствах бытия Божия, сколько в настойчивых свидетельствах, исходящих из глубины нас самих. Вера есть ответ перед Отцом, требующим от нас *отчета об уповании* (1 Пт. 3, 15), вложенном Им в наше сердце. Исток веры – благодарность. Господь, оставаясь Непроступным, открывается, *являет* Себя любящим, судящим, ищущим нас, живущим рядом. В ответ на Его дар открытости мы приносим наши малые дары в молитве, покаянии, совести, удивлении, памяти, нечаянной встрече с благодатным опытом, всякий раз пытаюсь взглянуть Ему в лицо. И тем самым открываем себя перед Ним. Вся исповедальная литература, рассказывающая о таком открытии – от «Исповеди» блаженного Августина до «Моей жизни во Христе» св. Иоанна Кронштадтского – это прежде всего созерцание тайны лица Божия.

*Сказало Тебе сердце мое: «Господа ищу».
ищут Тебя очи мои;
лица Твоего, Господи, ищу.
Не отвращай лица Твоего от меня (Пс. 26, 8-9)¹.*

То, что позволено великим, не возбранено и малым, да и, пожалуй, вменяется в долг любому из нас. Настоящая книга – попытка рассказать об одном из приношений, взглядеться в неисчерпаемость Той Тайны, Которая носит имя Иисус. Не дерзая, впрочем, обратиться к Ней *лицом к Лицу*, автор предпочел начать свой путь по тем немногим Ее отражениям, которые коснулись лично его. Об истине говорят, что она давно обретена, и все же даже последнему ученику ее позволено искать собственную тропу. В таком поиске сложилась форма последующих размышлений, распределенных по десяти темам, каждая из которых заключает в себе попытку познания того, что изначально связует нас с Богом. Внутренне этот цикл вырос из моей давней книги «Открытие Слова» (1983 г.) и даже отчасти заимствует в переработанном виде одну из ее главок.

Не совсем обычна судьба этих десяти триптихов. Изначально они были написаны по-французски, в течение нескольких лет печатались в одном журнале, затем вышли во Франции отдельным изданием². У автора была возможность выбора, ибо, помимо русского, ему приходится пользоваться еще и другими языками. Но, правду сказать, иногда бывает боязно доверить родной речи то, что проще отдать другой. Язык, выученный во взрослом возрасте, обла-

¹ Цит. по изданию: Псалтирь учебная. Русский литературный перевод с церковно-славянского языка. – М., 2000.

² Révèle-moi Ta face. – Paris, Parole et Silence, 2006.

дает своего рода смелостью выговаривать некоторые вещи с произвольностью, иной раз даже с бесшабашностью детства, а разговор о тайне любит ясность, целомудрие и отвагу. Родина слова, которую мы носим в наших лингвистических микрокосмах, слишком плотно населена отзвуками, переключками, внутренними конфликтами, и когда возвращаешься на нее, от всего этого бывает нелегко освободиться. Поначалу перевод этих текстов я доверил другим, но потом понял, что даже хороший перевод не выражает сути моей мысли. Все надо было начинать заново, все переписывать, иногда соглашаясь, но иногда и споря с французским текстом.

Как говорить о Боге, чтобы передать чудо Его открытия? Говорить, *сняв обувь* готовой идеологии, морали, скорых ответов, отказавшись от уверенного тона, принятого при обсуждении церковных и богословских проблем? Как выразить самое существенное, не рассказывая при этом еще одной истории об отношениях «Он и я» с их неизбежным акцентом на сентиментальной и навязчивой субъективности, коих немало в западной литературе? Не о личном опыте стремился рассказать автор, но о семенах, о ростках того изначального благословения, которое скрыто в каждом из нас. Перед светом *Лица Твоего* мы обретаем единство в Адаме, который живет во всех.

Февраль, 2007.

І. О познании Бога



Море, свеча, взгляд

Вера – это прежде всего способ познания. В истоках всякого акта познания скрыт первоначальный выбор, неуловимое стремление всего нашего существа, которое словно подносит свой живой огонек к мысли. И она вспыхивает и освещает то, что лежало в тени. Ее пробуждает некий импульс или разряд энергии, идущий из глубин нашего существа, порыв, возникающий в начале от желания обладать вещью, которая притягивает, подзывает, окликает нас. Вера, по сути, «провоцируется» Богом, потому что зависимость от Него изначально присуща человеческой природе, сохраняющей в себе следы Света, *который просвещает всякого человека* (Ин. 1,

9). И однажды Свет обретает в нас голос. Его звук, Его тепло сливается с тем безмолвным потоком нашего существования, который часто перекрывается, как плотиной, работой разума...

Тот разум, которым мы пользуемся в повседневной жизни, приучен к более громким звукам: трубам страстей, стуку забот, топчущих дни и часы нашей жизни. Свет же слегка касается нашей памяти, пробуждая мысль от глухого сна. Тот, Кто окликает, сотворил нас *имеющими* уши. Он вложил в нас внутренний слух, способный воспринимать толчки собственной нашей жизни, взывающей к Жизни издалека, как *бездна бездну призывает голосом водопадов своих* (Пс. 41, 8). Подобно тому, как зароненный в нас Свет хочет «проявиться» в нас, так и Жизнь Божия ищет соединиться с нашим сердцем и познанием. Иисус пришел как откровение этой Жизни, дабы в ней люди узнали *Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа* (Ин. 17, 3).

Но едва сделав первые усилия, чтобы познать это откровение, мы вступаем в область, в которой гаснет всякое ведение. Путь верующей мысли начинается во мгле, где разум отступает. Однако ночь познания – не предел, но лишь начало, здесь делаются первые шаги на том новом пути, который должен однажды открыться в нас. Христианская вера, выражается ли она в слове или в молчании, всегда осознает, что не способна выразить того, что ей открывается. Святой Симеон Новый Богослов где-то говорит, что мы способны познать Бога в той мере, в какой человек ночью на берегу безбрежного моря может осветить его своей горящей свечой.

Ночное море омывает наше существование со всех сторон. Оно бьется внутри нас как в тесной бухте. От нас оно проходит к другим творениям Божиим и наполняет их шумом прибое. Оно шуршит как птенец, копошащийся в мягком гнезде. «Божье имя как большая птица, вылетело из моей груди», – это признание Мандельштама описывает самый ранний опыт богопознания. Имя Божие вылетает в ночь, когда наше сознание еще дремлет. Вот уже два тысячелетия раздаются сожаления, смешанные, впрочем, с ликованием: имя Божие может вылетать из нас, но Сам Бог пребывает всегда по ту сторону любого человеческого образа и осмысления. Он не дает Собой «овладеть», Его невозможно заключить в мысль. Ибо всякая мысль, если наполнить ее именем Божиим, словно разрывается изнутри. Помнится, св. Григорий Нисский говорил, что, если собрать все представления и добавить к ним все наше знание о Боге, открытое и разработанное лучшими богословами в течение долгих веков, мы получим лишь еще одного идола.

Следует ли вновь говорить о границах нашего разума? Мы знаем, что слова, которые способны как-то приблизить нас к бытию Божию, начинаются за этими границами, и самое произносимое из них – тайна. Возможно, к нему прибегают слишком часто. Но это всего лишь слово-свидетель. На одну его сторону падает свет, другая затенена, и светлая сторона указывает на темную. Там, в тени, нет никакого секрета, «тайна» означает просто пробуждение разума. Но вместе с тем это слово исповедует наше смирение, наш страх, наше доверие, подчеркивает непреодолимое расстояние, разделяющее нас. Оно означает: все, что мы можем произвести усилием разума, не способно выразить бытие Бога. Мы знаем, что Он есть Сущий. Сердцевина тайны – в глаголе «есть». Тайна указывает лишь на невозможность «по-знать» Бога в мерцающем и отраженном свете «ясного и отчетливого» декартова знания, но в то же время она обещает нам другое рождение. Ибо «по-знать» (*con-naître*) означает, по сути, родиться в Нем, войти в свет, исходящий от Царства Его, которое где-то *внутри нас есть*, хотя оно и остается невидимым. Познание в данном случае подобно *рождению свыше*, о котором говорит Иисус Никодиму. Когда мы вступаем в это познание-рождение, тем самым мы даем Богу возможность, пусть и отдаленную – в силу нашей падшести, разделить с нами Его бытие.

Имеется ли тут в виду поэтическая метафора, просто слишком смелый или довольно необдуманный оборот? Все эти образы или обозначения богопознания коренятся в иудео-христианской традиции; они взяты из Писания, которое прежде всего говорит о познании, «свершаемом» Богом по отношению к людям. Это они «отмечены», «призваны» или «щедро осы-

паны» Его познанием. Выражаясь на языке философии, более точном, хотя и более бедном, чем язык поэзии, они – Его «объекты», послушные или восстающие против Его мысли или, вернее, Его слова, Его взгляда. Истинное познание не может не быть по сути своей взаимным.

Я знаю тебя по имени, – говорит Господь Моисею (Исх. 33, 17). В Евангелии от Иоанна сказано, что Иисус *не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке* (Ин. 2, 25). Бог знает нас до мозга костей, слышит голос наших помышлений и пожеланий, прежде чем они зародились в нас, и знание о Нем есть не что иное, как личностная – происходящая в одном человеческом существе – форма Его Откровения. Познавая нас, Он приоткрывает перед нами Свое Лицо, лик Того, Кто любит и «разумет» нас. Вера откликается или вспыхивает в тот миг, когда мы встречаем взгляд, который и есть любовь, и узнаем его.

*Господи! Ты испытал меня и знаешь.
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю;
Ты разумеешь помышления мои издали...
Еще нет слова на языке моем, —
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
Сзади и спереди Ты объемишь меня
и полагаешь на мне руку Твою.
Дивно для меня ведение [Твое] —
высоко, не могу постигнуть его!*

(Пс. 138, 1-6)

Но каким путем мысли я могу прийти к подобному ведению? Как почувствовать участие Божие в «памяти» об образовании плода в утробе матери, о котором далее говорит псалом? Мы узнаем Его руку в том же пробуждении любви, что помогает грудному младенцу узнавать мать. Человек способен предстать лицом к лицу с Любовью, Которая призвала его к жизни. Всякое человеческое существование несет в себе этот призыв, прячет, подавляет или выносит его на свет. Богопознание – не что иное, как ответ или эхо. Вера – это отклик всего моего существа, сердца, разума, плоти. Жизнь призывает к себе жизнь, Любовь выносит на свет любовь, познание Бога, которое совершается в ней, – как приглушенный голос раковины, несущей в себе отзвуки моря, того, что, по словам поэта, «витийствуя, шумит и с тяжким грохотом подходит к изголовью».

В Библии связь между Богом и Его народом не раз уподобляется супружескому союзу. Закон – это брачный договор между Господом и Его супругой, Израилем. Народ – как семья, в которой то и дело обнаруживается измена, как жена, которую соблазняют похотливые идолы – плотские, деревянные или каменные. Господь хочет владеть ею безраздельно именно потому, что познал ее и открылся ей Сам. Их союз означает подлинное богопознание, при котором человек открывается и принимает Другого, Который оставляет в нем Свое семя, и оно приносит плод в сердце. Образ, взятый из плотской жизни, – знак духовного, ибо Библия всегда мыслит человека как единое целое. *И всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель твой...* (Ис. 49, 26). Такое познание мы обретаем самой плотью и всем помышлением, *всей крепостью* целостного человека. Эта «крепость» раскрепощает нас, открывает настежь и тем самым дает вере покорить наш разум. Человек, открытый Богу, – это человек, в котором Его Откровение принимается, усваивается, становится частью его самого.

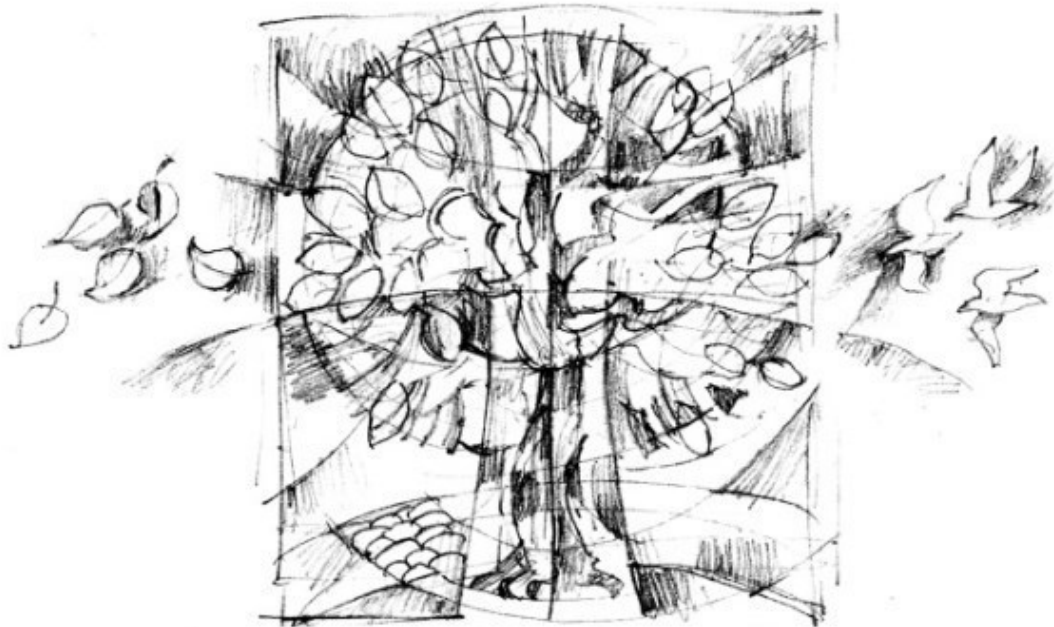
Самый достоверный образ богопознания – причастие. Причастие происходит во плоти, в виде пищи, но смысл его космичен. *Если бы ты знала дар Божий, и Кто говорит тебе: «дай Мне пить», ты бы сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую* (Ин. 4, 10). Если бы ты мог удерживать разум в таинстве Евхаристии, то принял бы собственную жизнь как хлеб и вино в их таинственном значении, как предложение твоего дара Духом Святым, как прино-

шение Божие, в котором Бог отдает нам Себя как пасхального Агнца. Если бы каждый из нас знал дар Божий, то единственное призвание состояло бы в том, чтобы его принимать или, как говорит апостол Павел, *за все благодарить* (1 Фес. 5, 18), буквально «творить Евхаристию во всех вещах» и возвращать их в виде таинств. Быть причастником – значит открыть себя для благодати освящения посылаемых Богом даров, дабы через них соединиться с Ним Самим. «Спросите красоту земли, красоту моря, красоту рассеянного воздуха. Красота эта непостоянна. Кто сотворил ее, если не постоянная Красота?» – спрашивает Августин.

Посмотрите на полевые лилии, как они растут... Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них (Мф. 6, 28-29). Посмотрите, – говорит Иисус, – все это было Мной создано. Прислушайтесь к тому, что рождается, растет, стоит, течет, высится – в начале, в глубине всякого, даже самого малого, творения лежит семя Слова или прозрачное облако Духа. Бог ожидает нас в каждом из созданных Им вещей, чтобы явить нам Свою красоту, ибо красота – это событие, в котором Он встречается с нами взглядом. Повсюду Он оставляет знаки, ведущие на стезю боговедения. Каждый знает тропы, которые начинаются от красоты и уводят в тайну Его присутствия: любовь, которая не ищет своего, примиренное страдание, благословение жизни, бездна смерти, улыбающийся ребенок.

Богопознание есть узнавание (в двух основных смыслах этого слова): это пробуждение памяти, когда мы «вспоминаем» о Господе по оставленным Им следам, и благодарность, самый первый, самый глубинный акт боговедения. Но благодарить за все, что Им сотворено для нас, за каждый взгляд, который оплодотворил нас семенем Божиим – значит взять свечу и попробовать осветить ночное море.

Ее пламя не одолеет ночи, но все же пусть она будет зажжена.



Таинство иного

Мы не перестаем задаваться вопросом об истоке своего существования. *Что есть человек, что Ты помнишь его*, – спрашиваем мы у Господа устами Давида, – *и сын человеческий, что Ты посещаешь его?* (Пс. 8, 5). Тело, в котором мы пребываем, ест, пьет, двигается, ведет жизнь, подобную жизни всякого животного, но его пасет, погоняет, кормит и обслуживает разум. Он говорит: пойдя, и оно идет, сделай то-то, и оно делает, хотя все мы знаем, что власть разума чаще всего иллюзорна. Не только оттого, что тело отлично научилось управлять своим хозяином и подсказывает ему те приказы, которые и без всякого разума само хотело бы исполнить, но еще и потому, что те полномочия, которыми облечена наша мысль, почти никогда не принадлежат целиком ей самой. Вовсе не плоть по-настоящему владеет ею, ибо наше тело всего лишь – «брат осел», по выражению св. Франциска, или, скорее, лисенок из «Маленького принца», желающий, чтобы его приручили; нет, истинный хозяин нашего *я* появляется лишь в исключительные моменты, так что далеко не всем удается с ним познакомиться.

Он всегда выставляет впереди себя мысль, которая иной раз донимает нас даже во сне. Мы знаем себя только в отражении мысли, и потому, не слышав о Декарте, мы живем, замороженные формулой: «Я мыслю, следовательно, существую», приказываю себе ходить по земле, значит, земля чувствует достоверность, весомость моего бытия. Даже оспаривая эту логику, отчаянно воюя с рационализмом, мы едва ли часто ставим перед собой «основной вопрос философии»: кто же это сей господин, называющий себя *я*? Это живое *я*, искрящееся мыслями, откуда оно берется? Имеет ли оно местожительство и каков его адрес? И сама мысль не подобна ли золотой рыбке, служащей у кого-то на посылках, а разум не похож ли на слугу, отправленного в дорогу с неким зашифрованным предписанием? И действительно, не спрятан ли в нашем сознании шифр какой-то иной вестки? И все дела наши, как овеществленные мысли, не выступают ли знаками чего-то иного?

Предположим, что «иное» существует, что же оно такое? Вопрос, впрочем, не нов, на него уже дано немало ответов. Иное, изначальное, то, что рождает образы, смыслы, решения, бродящие и твердеющие внутри нас, – это, скажем, общество со всей его системой воздействий и принуждений. Социальная среда, впитываемая всеми порами, внедряется в нас бесцеремонно, хоть и не всегда слышно, наущением, рыком, голодом или лязгом цепей, отдает нам приказы, которые становятся нормами поведения или идеологическими схемами, ведущими за собой наше *я*. Другой ответ: иное – это кладбище вытесненных желаний, куда сбрасывается все, что отсекается верхним культурным слоем сознания, и оттуда, из подполья, оно правит свой костюмированный бал. Сплюсненные инстинкты надевают маску благодетелей человечества, загнанные в угол комплексы проецируют себя в виде Высшего Существа. Оба антропологических проекта, по виду соперники, по сути соратники, исходят из представления о человеке как о существе, беспросветно замкнутом в себе самом. Намереваясь раскрепостить его, сделать хозяином своего «иного», они, по сути, несут в себе начало беспощадного подавления. Пытаясь заполнить собой весь внутренний объем человека, его знание о себе, они вынуждены отсекают от него все то, что не открывается их ключом. Потому что этот ключ, как бы ни старались его подделать, никогда не подходит к замку той двери, за которой обитает настоящее наше *я*, или тот, по слову Апостола, *сокровенный сердца человек* (1 Пт. 3, 4), скрывающийся в глубине нашей мыслящей и чувствующей природы, но остающийся для нас радикально «иным».

Библия ищет начало этого «иного» в сердце человека, которое есть знак, символ, соединяющий в себе две реальности: плоть и дух, землю и небо. И больше чем небо, ибо только сердце может приютить в себе Того, Кого не вмещает и *небо небес* (3 Цар. 8, 27). При этой встрече исчезают всякие пространственные категории, потому что Тот, Кто *превыше небес* (Иов. 11, 8), может быть столь мал, что даже во внутреннем пространстве человека, казалось

бы, не столь уж и безмерно великом, мы не найдем географически точного места Его пребывания. Мы знаем уверенно: все, что мы носим в себе – интуиции, взлеты чувств, волны памяти – не Он. Мы убеждены: все, что мы можем уложить в мысль или заключить в образ – тоже не Он. Но если *небеса проповедуют славу Божию* (Пс. 18, 2), то и в каждом из нас, из-под глыб, завалов, паутин греховности может открыться «умное небо», сложиться образ абсолютно иного, того, что нам не принадлежит. Это «не принадлежащее нам» входит в нас и «заземляется», оплотняется в сердце, духовном и физическом центре нашего существования, откуда исходит все человеческое во всех его проявлениях.

«Человек бесконечно превосходит человека», – говорит Паскаль, поскольку начало его – в том «посещении Божиим», которое несоизмеримо ни с чем человеческим. Так, всякая мысль рождается из предваряющего ее внутреннего звучания, как бы подсказывается словом, которое «настраивает» наше существо. Эта настроенность предшествует мысли и даже тому, что мы интуитивно обозначаем «душой». Она возникает в споре или согласии с тем Иным, которое неотъемлемо от нас. Мы живем, не замечая этого, во внимании и противлении Богу Живому... или к Его недремлющему противнику. Сердце есть «поле битвы», как вслед за святыми Отцами угадал Достоевский, то есть область вынесения решений, и человек обладает в ней полной свободой выбора, которой он ежемгновенно пользуется, ничего даже не делая, лишь мысля, вспоминая, существуя.

Жизнь в Боге означает сознательное пользование свободой, прозревающей к Его присутствию, открывающей слух к Его голосу. Свобода всегда заключает в себе возможность делать со своим слухом и зрением все, что мы сочтем нужным. И потому идея жизни, обходящаяся без Бога, иногда достаточно зрячая, чтобы увидеть, что существование намагничено некоей энергией, бывает готова «восславить» дар свободы почти как проклятие. В сущности, мы приговорены к свободе, как говорит Сартр, и если попытаться заново прочесть эту мысль, мы убедимся, что речь идет именно о приговоре оставаться лицом к лицу с Тем, Кто, будучи внутри нас, остается радикально Иным. Чаще всего мы предпочитаем уклоняться от этой прямой встречи как с Богом, так и с Его противником, пытаясь остаться «над схваткой». Самое распространенное явление в человеческой истории – «бегство от сердца», по аналогии с «бегством от свободы», если вспомнить знаменитую формулу Эриха Фромма, хотя и совершенно в другом смысле. Но побег никогда не удастся, потому что никакой человек не в силах освободиться от того сокровенного, пребывающего внутри него, где живет Невместимый *небом небес*, не желающий его оставлять...

Это «со-пребывание» означает, что Бог не остается прикованным к месту как некий сторонний наблюдатель. Это означает, что, существуя как Слово, Он не может в нас молчать. Будучи началом движения и самой жизни, Он не останавливается в Своем поиске и завоевании каждого сердца. Об этом поиске – с Его стороны, а вслед за тем и с нашей, человеческой, – свидетельствует опыт святых всей Церкви, как на Востоке, так и на Западе. *Свет истинный, который просвещает всякого человека* (Ин. 1, 9), не гаснет после нашего рождения, но живет во всяком, кто им просвещен. И мы на свой лад как-то откликаемся ему даже тогда, когда хотим его затоптать. Искра его вызывает в нас тоску об утраченном и вновь обещанном рае, и любой из людей, верующий или нет, хочет, чтобы это обетование исполнилось. Мы идем за ним, иногда вслепую, но иногда следуя тем знакам, тем заповедям воспитания сердца, которыми Бог одарил нас. И если наш путь верен, Он Сам рано или поздно выходит нам навстречу. «Господь ищет сердце, полное любви к Богу и ближнему, – говорит святой Серафим Саровский, вторя Книге Притч, – ибо сердце человеческое – престол его. Сын мой, дай мне сердце твое, и я дам тебе все остальное, ибо в сердце человеческом все Царство Божие».

И все же Царство это остается хоть и близким, но неразведанным и непознанным. Оно в нас, но оно иное и бесконечно далеко. Бог к нам ближе, чем мы сами к себе, как говорит бл. Августин, пусть так, но Он – за стеной. Как будто Он заперт в клетку. Эта клетка тоже

изготовлена из «материалов» или решений сердца, извергающего из себя *злые помыслы, убийства, прелюбодеяния...* (Мф. 15, 19), но чаще всего скуку, пустоту и *тамление духа*. Помыслы обладают особой природой, они меняют летучую, звуковую субстанцию интеллекта, гудящего, как улей, и превращают ее в тяжелый, жесткий, окаменевающий пласт нашего существования. Через него уже не пробиться никакому зову и свету, его можно расплавить лишь огнем. *Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!* (Лк. 12, 49). Конечно же, не костры обещает зажечь Иисус, Его желание в том, чтобы наше сердце коснулось пламени, способного уничтожить стену, отделяющую нас от Него. Пламя – это Он Сам; пожирая *злые помыслы*, оно делает наше сердце блаженным, зрячим, зрящим Бога внутри себя, в своей «клетке», в сокровенно-Ином. Его жар освобождает Бога из заточения и тем самым отпускает и сердце на свободу. «Чистое сердце» – то, где Бог действует свободно; освященное именем Иисуса, оно становится знаком реального присутствия, таинством абсолютно Иного под видом всецело человеческого.

На христианском Востоке приближением к этому таинству стала практика молитвы Иисусовой. Ее текст и смысл – в призывании имени Воплощенного Слова, ее секрет – в поиске внутреннего человека. Что происходит с сердцем тогда, когда ему удастся «разбогатеть» этим именем? Слово начинает биться в нем, соединившись с его ритмом; молящийся как бы становится потоком слова-имени, которым, ему кажется, он может управлять, как говорят, «устроиться с Богом». Многими усилиями накопив в себе «Иисуса», человек взывает к Нему: «Прииди и пребудь со мной, я сделал все, чтобы приготовить Тебе достойное место, принес покаяние, исповедал грехи, не усомнился в вере». И слышит ответ: «Ты говоришь. Но та дверь, в которую ты хочешь войти, все еще плотно закрыта, она открывается только изнутри». Приближаясь к концу пути, хотя и не видя конца, человек говорит: «Труды мои, видимо, пропали даром, я еще не знаю, что такое молитва сердца. Возьми только из меня сердце каменное, как ты обещал пророку, дай мне *сердце плотное*» (см. Иез. 11, 19). Мы не ведаем того дня или часа, когда Господь приклоняет ухо к нашему шепоту. Но вот однажды дверь приоткрывается, сокровенный человек выбирается из темницы. Мы узнаем в нем Того, Кто был с нами всегда. Икона Его во всех одна, но каждый должен обновить ее своими красками и чертами. Его имя становится эхом каждого лица, звука, слова, предмета. Плотью сердца – как о том говорит опыт святых – одевается весь видимый, весь звучащий мир вокруг нас.

«...я стал отчасти понимать сокровенный смысл Слова Божия, – читаем в «Откровенных рассказах странника», – мне начало открываться, что такое внутренний потаенный сердца человек, что истинная молитва, что поклонение духом, что царствие внутри нас... Когда при сем я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет, все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из сего, что называется в Добротолюбии «ведением словес твари», и увидел способ, по коему можно разговаривать с творениями Божиими»³

«Потаенный человек» отверзает наш ум к разумению Писания и языка твари. Мы вступаем в область сердца как в мастерскую Бога, где совершается невидимая Его работа по спасению каждой души и через нее всего отраженного в ней космоса. Так осуществляется призывание к *царственному священству* – в причастии ко всему, откуда Бог окликает нас. В сердце, которое *Бога узрит*, потаенное становится преображенным, скрытое, иное – богочеловеческим.

³ Париж, «YMCA-PRESS», 1973, стр. 42-43.

Рана, которая делает нас людьми

И боролся Некто с ним до появления зари, – читаем мы в книге Бытия. Каждого из нас эта книга делает свидетелем той космической литургии творения, которую Господь до сих пор совершал один. Он говорит: *Да будет свет. И стал свет.* Во свете Он творит человека – для того ли, чтобы видеть его лучше или быть видимым Самому? – однако после грехопадения свет как будто отодвигается, но не исчезает окончательно, уступая на время место мраку. Впрочем, и сама тьма отныне кажется лишь ночным одеянием света... Господь наводит на землю потоп, заключает завет с Ноем, призывает Авраама, избирает Иакова..., делая каждое из этих «посещений» зеркалом Своей покоряющей славы. Но вот внезапно цепь теофаний прерывается. Сотворивший небо оставляет Свое могущество и, словно зажав в руке исходящий из Него свет, прячется в ночи, скрывается в анонимность. Он приходит как «Некто», Незнакомец-Ангел, зачем-то вступающий в изнурительную борьбу с тем, кого Сам выбрал, на ком сам недавно остановил отеческий взгляд.

Он борется на равных и, похоже, вовсе не собирается одерживать победу над *перстью земной*, черепком глины, который мог бы рассыпаться от одного взгляда, не то что прикосновения. Более того, Тот, кто вступил в борьбу, кажется, даже не в состоянии ее завершить. Он хочет лишь оставить след от этой памятной рукопашной схватки. *И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда Он боролся с ним. И сказал ему: отпусти Меня, ибо возшла заря* (Быт. 32, 25-26).

С самого начала Библия обращается к нам на языке событий, которые так укореняются в нас, будто становятся частицей нашего бытия. Рассказ о ночной борьбе по-своему завораживает; перед этой сценой мы не чувствуем себя сторонними наблюдателями; ее действие разворачивается где-то рядом, в нас самих. Мы ощущаем смутный гул схватки, сплетение тел, глухую борьбу под трепещущими деревьями, и ее напряжение как будто передается нам... Что в конце концов происходило там, тысячелетия назад, у потока Иавока? Почему Господь вдруг отказался от Своей силы, явив Себя в Вефиле (видение лестницы, уходящей к небу, – Быт. 28), так странно и неожиданно «воплотился» до Воплощения, снизошел до роли ночного агрессора? Что за истину захотел Он открыть из мрака? Какое откровение решил передать человеку в этой изматывающей борьбе в полусне?

Сон (потому что мне думается, что эта борьба происходила тогда, когда Иаков не вполне владел своим разумом, был, как говорят, «вне себя», но не от какой-либо страсти, а от ошеломляющей близости Божией) обезоруживает нас, обнажает «внутренность», по выражению псалмопевца, высвобождая те силы, которые она хранит в себе без нашего ведома. О каких силах мы говорим? Едва речь заходит о брожении неведомых энергий в человеке, мы чаще всего вспоминаем о его подсознании с докучливым наследием неукротенного «низа», ставшего законной собственностью психоанализа. Однако и духовный «верх» нашего я, также живущий по своим, не ведомым нам законам, не в меньшей мере ускользает от контроля разума. Все знают, что ночь открывает наше сердце для нападений врага, но вместе с тем делает его и более гостеприимным, восприимчивым к присутствию Божию. Сон обнажает борьбу, о которой мы не ведаем, не помним, не желаем знать днем. Бодрствующая мысль сама направляет луч света, что-то выхватывая из темноты, что-то оставляя в намеренном неведении или полужнании.

«Все это не столь уж и важно, – уговаривает она себя, задвигая в безопасную тень то зло, которое мы совершили, – здесь не о чем особенно беспокоиться». Но, засыпая, мысль перестает быть хозяйкой над собой, ее «тело» внезапно слабеет, становится слишком легким и детским, чтобы передвигать в нужном логическом порядке весомые привычные аргументы, и тогда из тени выступает другое – «чуждое» как Имя – знание. Нередко оно вступает в борьбу с той дневной, уравновешенной, успокаивающей убежденностью, принимается оспаривать ее,

судить, будучи при этом бесконечно более слабым, но при всей «летучести» своей неодолимо настойчивым. Его настойчивость оставляет отпечаток в действующей нашей памяти, и мы начинаем сознавать, что у нас есть свидетель или обвинитель, подстерегающий нас, показаниям которого нам нечего противопоставить. Этот зародыш знания, явившегося из ночи, подобен якорю, брошенному в наше подсознание и цепляющемуся за корень того, что вечно в людях...

«Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое: сие называется совестью, а она есть естественный закон» (Авва Дорофей. *Поучение третье. О совести*). Совесть неотделима от нашей человеческой природы, будь она верующей или безбожной, ибо в самой ее глубине мы обнаруживаем присутствие как бы посторонней силы, действующей в нас и чаще всего против нас... *Даже и ночью учит меня внутренность моя* (Пс. 15, 7), и вместе с тем это знание приходит откуда-то извне, со стороны того Незнакомца. Оно кажется более чем личностным и в то же время предпочитает оставаться анонимным. Ни оно не может отделиться от нас, ни мы не в силах освободиться от него, и, принимая болезненные удары, мы бесконечно нуждаемся в нем.

Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня, – говорит Иаков. В этой борьбе ни одна из сторон не хочет одержать победу. Бог повреждает *состав бедра* человека – не для того ли, чтобы он не сумел далеко убежать от Него? – но человек вовсе и не собирается убежать, он не хочет отпустить Бога без Его благословения. *Ты боролся с Богом*, – говорит Господь Иакову, но разве его борьба велась не ради того, чтобы быть с Богом, получить от Него частицу Его благой силы, которая могла бы наполнить собой нашу *немошь* (ср. 1 Кор. 12, 9)? Богоборчество есть форма нашей тоски или ревности по Богу, причиняющему нам боль, но и эта боль становится для нас благодатным даром.

Богоборчество присутствует и в совести, которая есть образ богопознания. Совесть обнаруживает себя, когда две части нашего существа, словно два соперника, наносят чувствительные удары друг другу. Связь между ними настолько тесна, что их невозможно расчленишь. Но где здесь человек, а где тот ночной Посетитель? Первый одерживает верх и расширяет границы возможного, которое становится более вместительным или более сообразным с «веком сим», но эта победа ему оказывается не нужна. Одерживает верх «Некто», и тогда наша совесть выступает в роли обвинителя, становится «судьей неподкупным» (св. Иоанн Златоуст) или «кающимся судьей» (Альбер Камю). И тогда нас будит вопрос: Кто Ты, борющийся со мной? И почему, несмотря на рану, которую Ты мне наносишь, я не хочу, чтобы Ты оставил меня? Почему я не могу жить без Твоего благословения?

Открой мне Твое имя

За вопрошанием об имени стоит требование, которое Иаков словно не решается высказать: «Открой мне Твое лицо». Открой сейчас, немедленно, пока я борюсь с Тобой. Но имя, которое он узнает, лицо, которое увидит, может быть, откроются лишь там, где Ты будешь повсюду. Теперь же, во время борьбы, он изо всех сил старается припомнить и то и другое, ибо имя он где-то слышал и когда-то видел лицо. Однако уже в первом поколении после Адама познание Бога – в имени и лице – словно ушло в неразмыкаемую тень, стало как будто внешней и отстраненной силой, «свернувшейся» в заповедях, четких, жестких, не подлежащих обсуждению. *Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. Не убивай...*

Но закон, естественный или дарованный сверху, есть только раковина, несущая в себе изначальное Слово. После Воплощения оно заговорит прямо, от лица к лицу, из глубины к сердцу. До того, как стать зовом и обетованием, возвестившим о себе из пылающего куста, Господь откроется в радуге глазам Ноя, станет голосом, столь непререкаемо заговорившим

в Аврааме, возглавит лестницу Ангелов, представшую в видении Иакову, и наконец явится ему же ночным загадочным Противоборцем. Ни в коей мере не подвергая сомнению физическую реальность этих откровений, мы можем толковать их и как внутренние события, которые некогда совершились и продолжают происходить внутри человеческой природы, сотворенной – стоит ли напоминать об этом? – *по образу и подобию* Божию. В этой череде откровений вырисовывается таинственный путь к воплощению Слова, *просветившего всякого человека*, вписанного в его сердце, наделившего его свободой слышать его или быть глухим, повиноваться ему или вступить с ним в борьбу. Мы сами определяем границы участия Бога в нашем существовании. Однако закон – или тот Гость, Который часто является к нам без спросу, – также обладает свободой нарушать эти границы, переходить их, чтобы вступить с нами в борьбу, как Безымянный Иакова. Не такую ли борьбу, происходящую анонимно, в ночи духа имеет в виду и ап. Павел, когда говорит о тех, кто не знает закона: *Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую* (Рим. 2, 14-15).

Закон – это не просто «остывший кратер», откуда некогда изверглось раскаленное слово Господне, и не «пересохший канал» (Карл Барт), в незапамятные времена заполненный живой водой, ибо там, где Бог однажды прошел, Он остается. Закон – скорее Его первая остановка в человеке, святилище, где все еще требуются жертвы. Закон прячет себя, открываясь, являет свою мощь, отступая в тень. Он есть поврежденный *состав бедра* у Иакова или *жало в плоть* (2 Кор. 12, 7) апостола Павла, та рана, от которой мы не хотим исцелиться. Ибо только благодаря ей мы суть те, кто мы есть. Закон – источник очищения, он причиняет нам ту боль, которая возникает на пороге будущего века, перед его судилищем, *когда... Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа* (Рим. 2, 16).

Св. Иоанн Златоуст уподобляет совесть чувству стыда, которое испытывал нагой человек перед Господом в раю. Но не заложена ли в этом чувстве некая связь, соединяющая их? Разве Царство Божие уготовано лишь для прилично одетых, твердой походкой прошедших по земле людей, которые никогда не стыдились Бога, не вступали в борьбу с Ним, не слышали Его голоса?

И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь (Быт. 32, 27-28). Израиль, тот, кому будет дан закон, откуда выйдет Мессия, которому явится Слово, выходящее из закона и самой жизни... Работа совести постепенно изменит сущность человека, сделает его богоборцем Божиим, и Слово, которое заговорит с ним лицом к лицу, преобразит Израиль в Церковь. *Подзаконные* (1 Кор. 9, 20), те, кто отбывает наказание, наложенное совестью, будут освобождены, искуплены и преображены в Имени Божиим, которое одно только нужно для спасения...

«Благословенна вина, – восклицал бл. Августин, – даровавшая нам такого Искупителя!» Мы вправе переиначить это восклицание: «благословенна рана, одарившая нас познанием Бога в совести!» Она подобна соли, спасающей нашу плоть от гниения, или той горькой воде, которая способна утолить нашу жажду лучше любой другой... Но эта горечь входит в состав «вкуса» человека, и, наверное, те, кто лишен этого привкуса, *лжесловесники, сожженные в совести своей* (1 Тим. 4, 2), сделанные из непроницаемой, твердой, неранимой породы, уже не относятся к семье человеческой.

Есть ли определение у совести? Обжигающая нас память, перекличка мыслей, оспаривающих одна другую, голос, стучащий в сердце, истина, которая требует очной ставки, но прежде всего радостное приготовление к непредставимой встрече, когда мы, подобно Иакову, сможем сказать: *Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя* (Быт. 32, 30)...

Когда Лицо откроется всем

II. И увидел Бог...



Источник Живого, Видящего меня...⁴

И увидел Бог, что это хорошо (Быт. 1, 25). То, что мы назвали бы сегодня «диалогом» Творца с творением, начинается со взгляда. Взгляд Божий, радуясь, дает благословение всей твари. *Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле...* (Кол. 1, 16), и то, что создано, охвачено Его видением. И когда Господь на шестой день творит человека по Своему образу и подобию, Он дарует ему образ Своего видения и подобие слуха, дабы каждый из людей мог внимать Его слову и встречать Его взгляд. При этом, чтобы *видеть Бога, как Он есть*, даже необязательно обладать зрением телесным, ибо Он дает уразуметь Себя внутреннему, дарованному нам при творении зрению, услышать – сокровенному слуху. Все, что человек слышит и видит, он дает имя, которое становится первым контактом между ним и Творцом, тем началом общения, из которого затем вырастает то, что мы называем «религией». Завет с Богом

⁴ Перевод этой главы является пересказом главы «Нафанаил под смоковницей» из моей книги «Открытие Слова». – М., изд. «Путь», 1993.

заключается через слух, зрение, сердце. Инициатива такого завета – всецело в руках Божиих, однако он должен быть принят и утвержден человеком.

Так был заключен завет с Агарью. Агарь стоит в стороне от царского пути, ведущего от Авраама к Исааку, от Иакова через множество родов к Воплощению Бога-Слова. Притесняемая Сарой, она бежит в пустыню, где Ангел Господень находит ее у источника воды. Здесь она получает один из самых удивительных даров Божиих – знание о том, что она увидена и узнана Им.

И сказал [ей Ангел Господень]: Агарь, служанка Сарина! Откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство, так что нельзя будет счесть его от множества. И еще сказал ей Ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня. Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои [Источник Живого, видящего меня] (Быт. 16, 7-14).

Изгнанная с дороги царской, Агарь избранием Божиим словно возвращается на нее тайно, оставаясь безымянной в видениях библейских писателей и пророков. Одной из первых она открыла тайну, которая станет затем их уверенным ликующим знанием:

Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: «Мое имя будет там», – молится Соломон при освящении построенного им храма (3 Цар. 8, 29);

...Очи Господа обзирают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему, – говорит прозорливец Ананий царю Асе, упрекая его в маловерии (2 Пар. 16, 9);

...Око Бога их было над старейшинами Иудейскими, – говорится о тех, кто начал восстанавливать храм при царе Дарии (Езд. 5, 5);

...Очи Господа... объемлют взором всю землю, – читаем в пророчестве Захарии (4, 10).

Но лишь после Воплощения, когда *очи Господа* начинают смотреть на нас глазами человеческими, нам открывается какое-то новое, живое, пронзительное знание о тайне этого взгляда. Мы находим его в рассказе о призвании Нафанаила в Евангелии от Иоанна:

...Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде не жели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: «Я видел тебя под смоковницею», увидишь больше сего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ин. 1, 47-51).

Едва ли не в любом из своих отрывков Евангелие может раскрыться перед нами всей своей вестью и новизной. Мы вчитываемся в рассказ о встрече человека со Христом. Ей предшествуют две предыстории, одну из них можно назвать «прологом на небе», другую – «прологом на земле». На земле Иоанн Креститель узнает (пусть даже его знание было лишь мгновенным, принесенным и унесенным Духом Святым): *Вот Агнец Божий* (Ин. 1, 29). Один из учеников Иоанна, Андрей, следует за Агнцем и зовет брата Симона. Иисус нарекает его Кифой, что значит «камень», или Петр. Петр, собираясь в Галилею, находит Филиппа, тот зовет Нафанаила.

«Пролог на небе» остается нам пока неизвестным. Он открыт только Тому, Кто был его непосредственным участником, главным действующим лицом – Самому Иисусу. Тот пролог лишь отчасти известен Нафанаилу; но он вступает в него лишь тогда, когда Иисус вдруг обра-

щается к нему из прошлого, общего, им обоим принадлежащего, прошлого Иисуса и Нафанаила, Бога-Слова и сотворенного этим Словом человека. Встреча с Иисусом происходит в нем гораздо раньше, чем позвал его Филипп, хотя Нафанаил не догадывается об этом. Он вспоминает об этой встрече, откликаясь личному, понятному ему приветствию: *Я видел тебя*. Ты был под смоковницей. То мгновение твоей жизни отпечаталось в Моем взгляде. Вся твоя жизнь открыта передо Мной, она была прожита и продолжается в Моем присутствии. От чрева матери твоей ты носишь на себе отсвет глаз, в которых ты запечатлен весь целиком. И хотя ясного видения не было у тебя, то и не встречаясь со Мной глазами, ты мог ощутить, что Я рядом. Там, *под смоковницей* ты мог знать, не ведая о том, что припомнил вот сейчас.

Израильтянин, в котором нет лукавства, сумел окунуться в эту память и узнать себя в ней. Взгляд Божий осветил ее и заговорил в ней. Старое, но внезапно обретенное знание сказало ему о том, что в его жизни был Свидетель, Соглядатай, Тот, о Ком говорили *Моисей и пророки*. Два «пролога» встречаются и становятся на миг единым действием: Иисус говорит с Нафанаилом и *Царь Израилев* предстает перед ним. Что он должен быть подумать, царский собеседник? Человек, который сейчас смотрит на меня, возвращается ко мне из моего прошлого, из глубины, мне неведомой, но которая и составляет суть моего *я*. Именно в этой сути мы наконец узнаем друг друга.

Из такого узнавания зарождается вера. Один взгляд оставляет свой отпечаток в другом. Тот, кто до сей поры оставался в стороне, на дальней периферии нашего существования, вдруг всплывает к достоверности разума и чувств и становится самым существенным. Прежде чем Нафанаил взглянул на Иисуса, Христос узнал его под смоковницей, нашел его в памяти, как и в забвении, в его «нелукавстве» и, возможно, грехе, в уединенной молитве и жизни среди людей. И Нафанаил увидел себя разгаданным Другим. Это не означает, что Бог обнаружил в человеке нечто такое, что тот собирался от Бога припрятать в темном укромном месте, ибо все вещи, припрятанные в темноте, давно известны и уныло похожи друг на друга. Скорее Бог открыл в человеке именно то, что ему самому было необходимо в себе открыть. Если бы Филипп не позвал Нафанаила, это сделали бы за него Петр или Андрей, книги пророков, ночной Ангел, боровшийся с Иаковом, или лилии, затмевающие одеянием своим славу Соломона; и от Ангела или лилий он услышал бы те же слова: *Я видел тебя*. И в ответ он, может быть, вспомнил слова Малахии о грядущем Мессии: *Ибо Он – как огонь расплавляющий...* (3, 2).

Может быть, Нафанаил столь легко нашел путь к *Видящему меня* потому, что, не имея лукавства, не выстроив преград между сердцем и Богом, он был доступен, раскрыт Его взгляду более нас. Мы утратили эту сердечную полновесную конкретность в отношениях с Богом, свойственную людям Библии. Однако взгляд Его по-прежнему животворит нас, он как семя, о котором рассказывается в притче о сеятеле. Семя падает в нас, всходит и приносит плод. Разумеется, и его могут заглушить сорняки или склевать птицы. Судьба его зависит от почвы, которая суть мы сами, земли удобренной, плодородной или заросшей, выжженной, каменистой. Мы можем отвернуться от взгляда, но он способен настичь и прожечь нас, пробуравить любую коросту. От Слова, даже поклеванного птицами, все же остается след, оставленный хотя бы его звуком, его тенью. Подобно солнцу, восходящему над праведными и неправедными, Слово-взгляд посылается всякому человеку, может дать ростки во всяком опыте. Оно будоражит память, тревожит, увещевает, предостерегает, но иногда молчит так, что мы слышим его молчание. Оно – не наше, но ближе к нам, чем мы сами. Оно произносит то, что мы не можем выговорить, напоминает о том, что мы не в силах вспомнить, находит нас под той смоковницей, о которой мы давно позабыли. «Вся нага и обнаженна пред очима Твоима, ведый яже о мне...», – как сказано в чине Крещения. И мы познаем самих себя лишь тогда, когда встречаемся с теми очами, предстаем «обнаженна» перед их светом, даем их взгляду встретиться с нашими глазами. Потому что Его ведение дарует знание нам, Его видение наделяет нас зрением.

«Несоделанное мое видесте очи Твои...», – молился св. Симеон Новый Богослов (из Последования ко святому Причащению). Видение Божие охватывает всего человека целиком в его прожитой и непрожитой жизни, во всем, что ведомо ему, и во всем, что неведомо, в том, что лежит во прахе прошлого, и в том, что только зарождается в нем и пробивается к будущему. Взгляд Божий внедряется в нас, падает как зерно и зачинает новую жизнь. Во всяком всплеске нашего *я* затеряна капля *ты*, зерно света, который не гаснет ни в какой тьме. Этот свет может вспыхнуть в лице любого из наших ближних, людей, зверей или бессловесных тварей, когда мы обращаемся именно к их сотворенности, хранящей след *Видящего меня*, но также и Видящего другого, ибо нет никого, кто был бы исключен из этого видения. «Всевидящим оком Твоим призираяй на всю тварь», – произносит иерей на утрени, зная, что это око – Христос.

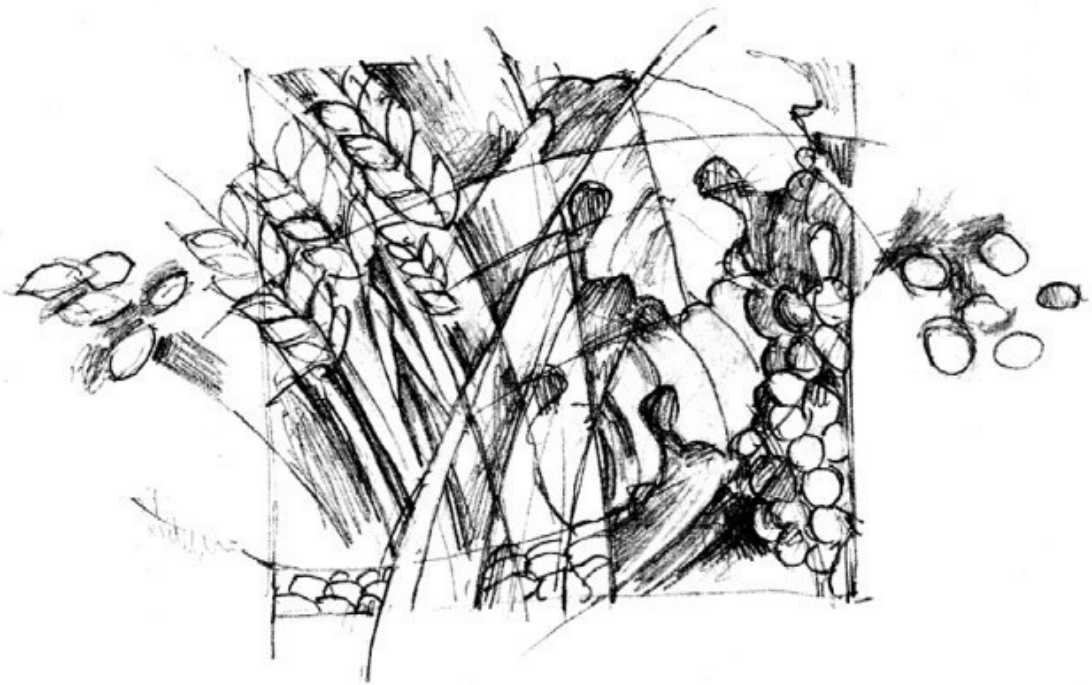
Христос рождается в нас раньше нас самих. *Не сокрыты были от Тебя кости мои... , когда я созидаем был втайне, образуем был во глубине утробы...* (Пс. 138, 15). И когда втайне складывалась и была образуема душа человека, она вбирала в себя этот взгляд, видевший некогда Авраама, нашедший Агарь у источника, настигший Нафанаила под смоковницей еще до того, как кто-либо из них произнес имя Бога или заметил след Его.

Этот опыт, если можно назвать его так, универсален. Отцы Церкви могли, не смущаясь, находить подобие между любовью к Богу и страстью к женщине. Но есть аналогия и в прозрении. Работая над этим текстом, случайно я натолкнулся на строки Бродского:

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
Даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.

Чужое, иное зрение отпечатывается в нас, по его следу можно найти себя самого. Человек, единственный из тварных существ, способен увидеть свое отражение в глазах другого человека и в зрачке Божиим. И, увидев, узнать себя в нем, и, прозрев, коснуться непостижимого. И находить отблеск его повсюду. Кто бы ты ни был: бунтарь, язычник, агностик, вольный стрелок, скептический собиратель истин, скучающий турист по религиям, ты не можешь стереть с себя это отражение, которое может быть спрятанным в иные ценности, рассыпаться по многим лицам. Человек наделен свойством отражаться в Другом, составляющем суть его самого. И более того, весь он как бы собирает свою сущность в этом Другом, в этой невидимой точке бесконечно Иного, которая где-то спрятана в нем, но в которой он выявляется всей своей сутью, душой, жизнью. Эта есть то бесконечно малое семя, в котором Бог присутствует целиком, откуда исходит свет имени Божия или отблеск ока Его.

*Он положил око Свое на сердца их, чтобы
показать им величие дел Своих (Сир. 17, 7)*



Гостеприимство взгляда

Среди русских икон есть образ, который называется «Всевидящее око». Небо и земля предстают здесь в виде широкого полукруга, объятых одним всеохватывающим взглядом. Созерцание словно образует колыбель, в которой, как ребенок, мягко покачивается все творение Божие. Оно собрано в одно видение, кажется, что Господь (остающийся, конечно же, за пределами изображаемого) прижимает его к груди, ласкает, несет в Себе. Взгляд, по замыслу иконописца, вбирает в себя все, что существует, прикасается ко всему, что есть, и, прикасаясь, неким тончайшим образом изменяет природу видимого. Попробуем все же присмотреться к этой перемене. Она происходит во всех вещах, но прежде всего в нас самих, делая нагим наше внутреннее *я*, лишая его защиты и в то же время словно покрывая «омофором» взгляда.

В том, как мы *ходим пред лицом Божиим* (Быт. 24, 40), самое важное, изначально – оставаться под взглядом, исходящим от Лица, быть открытым ему. Свет Лица предшествует звуку слова. Но чтобы воспринять этот свет, надо научиться смотреть самому, надо уметь входить в общение с тем, что у нас перед глазами, начав с самого малого, повседневного. «Я смотрю на дерево, – говорит Мартин Бубер, – я могу воспринять его как зрительный образ, я могу ощутить его как движение: струение соков по сосудам, которые окружают сердцевину, я могу отнести его к определенному виду деревьев, я могу сделать его бессмертным, лишив жизни, если представлю его в виде числа и стану рассматривать его как чистое численное отношение... Однако по воле и по милости может произойти так, что, когда я гляжу на дерево, меня захватывает отношение с ним... Сила исключительности завладела мною».⁵

Изменяет ли эта исключительность контакта само существование дерева? Я могу лишь сказать, что тот образ, в каком дерево предстает передо мной и смотрит на меня, что-то изменяет во мне. Какие-то зрительные его токи вливаются в мое собственное бытие, остаются и растворяются в нем. Я говорю дереву *ты*, и оно входит в интимный круг событий, протекающих где-то в глубине моей жизни. Однако когда я говорю *ты* моему ближнему, собрату по человеческой семье, «сила исключительности» завладевает мною куда более явно и настоятельно. Весь текучий и недоступный мне объем его личности образует какой-то отпечаток, который густеет во мне, смешиваясь со множеством других отпечатков. Его образ активен, его краски, звуки, сигналы, смыслы предъявляют свои требования ко мне. Сделаем следующий шаг, попытаемся войти в область отношений с Богом и отметим то, что стоит по ту сторону парадокса: взгляд Божий еще менее навязчив, менее притязателен, чем может быть «взгляд» дерева, ручья или горы, и вместе с тем он охватывает меня до последней клетки тела и души. Он не просто примешивается к потоку других взглядов, но пронизывает и изменяет – разумеется, если я откликаюсь ему и готов участвовать в этом изменении, – мое *я*. Я говорю Ему *Ты*, но знаю, что Его *ты*, обращенное ко мне, первичнее, древнее, мощнее. Оно предшествует всему, что есть во мне, тому, что было и не было прожито. Более того, я открываю самого себя как личность, которой говорят *ты*, как существо, которое находится под оком *Видящего меня*. Чье-то видение облакает и предопределяет все наше существование. Когда мы находим себя в поле этого видения, мы приходим к самому удивительному открытию, которое человек может сделать в своей жизни.

Неизбежен вопрос: силой какого познания я прихожу к этому видению? Оно вырастает из моей способности, впрочем, вполне обыкновенной, быть застигнутым взглядом другого. Начало такого познания передано Блоком:

Есть игра: осторожно войти,

⁵ Мартин Бубер. Я и Ты // Два образа веры. – М., 1995, стр.18-19.

взгляд Распятого, спускающегося в преисподнюю греха или своеволия. В «Легенде о Великом Инквизиторе» Иисус побеждает Своего судью и служителя лишь взглядом. Судья – тот, кто запирает себя в тюрьму своей логики, в ад замкнутой системы мысли, непроницаемой ни для какого иного слова, не включенного в эту систему. Там, где Глагол, спешивший с небес, оказывается бессильным, власть Слова отдается глазам.

Иногда небо («Плохая физика, но зато какая поэзия!» – воскликнул бы Пушкин) может оказаться в глубине, затаиться в плотных залежах греха. Под бездной преисподней может открыться другая: бездна милости Божией. Позади я, подавленного, свернутого, текучего, взрывчатого, без конца бунтующего против всех, сохраняется где-то существо прозрачное, недвижимое, отражающее ясность первого дня творения. *И увидел Бог, что это хорошо* (Быт. 1, 21), и эту изначальную «доброту» каждой твари Бог – глазами Иисуса – хочет найти в каждом из нас. Никакой грех не способен остановить этот взгляд, освещающий *сокрытое во мраке* (1 Кор. 4, 5), утопить его в «бессознательном», по слову книжников века сего, хотя может его и замедлить. Мы уже привыкли к тому, чтобы извлекать все сокрытое на поверхность с помощью некой психологической техники. Мысль буравит потаенную тьму, дабы отыскать и нанизать на себя припрятанное, подавленное желание, чтобы таким путем освободиться от него. Подобно лазутчику, пробирающемуся в тыл врага, этот метод учит нас, как проползти по лабиринту того, что мы сами упрятали в подсознание. Христианский «метод», напротив, учит, как *отпустить измученных на свободу* (Лк. 4, 18), дать распрямиться «доброте», разбудить красоту, дремлющую в нас, расковать в нас все то, что Бог сотворил для себя, и «неспокойно сердце наше», пока Он не сотворит в нем обитель...

«Чужая душа потемки», – гласит пословица. «А в темноте – бесы», – добавляет опыт стольких святых. Но именно эта часть души может быть освещена Всевидящим Оком. Там, куда входит Бог, побеждает свет. «Божественное (око) обзирает все, все чувствует, все испытывает», – говорит св. Григорий Нисский. Дух Божий облекает меня своей зоркой любовью, служит незримым посредником между я и всеми существами, ему близкими. *Бездна бездну призывает* (Пс. 41, 8) как любовь притягивает любовь. Первая заповедь, данная Иисусом, – *возлюби Бога всею душою твоею...* – обращается к этой «нижней» бездне души, разверзстой в каждом из нас и глядящей в «верхнюю» бездну Бога. Христос зовет нас открыться этой вершине, приготовить любовью путь Господу, начав с очищения внутренней нашей «клетки» или, скорее, внутренней бездны, дабы она, сделавшись прозрачной, могла отразить собой *око Господне*.

Если мы веруем, значит, мы даем согласие тому оку видеть себя. Без зрячего сердца, оказывающего гостеприимство взгляду, единому, но идущему словно из множества глаз, веры, по сути, быть не может. Своим согласием мы отдаем себя во власть Смотрящего, позволяем Ему видеть то, что хотели бы скрыть. И вот что нам открывается: за всем скрытым, что пронизывает собой взгляд Господень, прозревший наш дух находит отражение всего сотворенного. «Внемли себе, – говорит св. Василий Великий, толкуя слова Второзакония (Вт. 15, 9, греческий и славянский текст), – ты не будешь иметь нужды искать следов Зиждителя в устройстве вселенной, но в себе самом, как бы в малом каком-то мире, усмотришь великую премудрость своего Создателя».⁶ Благоприобретенную эту премудрость мы и рискуем назвать верой. Она входит в нас через чистоту зрения.

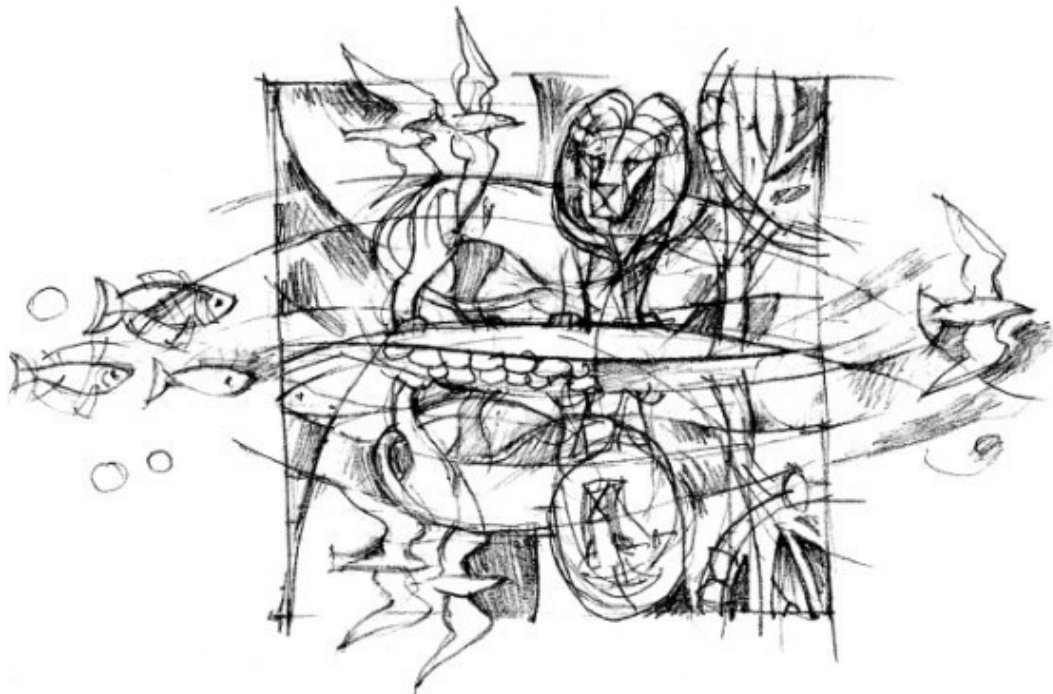
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло (Мф. 6, 22). Наши глаза должны наполниться тем просветившим нас Светом, который скрыт от нас, чтобы в них мог отразиться Источник его. Чистое око видит икону вещей, невидимое лицо того, что нас окружает; молитва зажигает *светильник для тела*, встречающий взгляд, под которым мы были созданы и существуем поныне. Только под этим взгля-

⁶ Внемли себе // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Том IV. – М., 1993, стр. 44.

дом, когда мы позволяем ему войти в малую нашу «бездну», мое я может прийти в согласие с образом и подобием Божиим. Творец «доброты», скрытой во всех вещах, предстает как Свидетель, Судья, Посредник, Целитель, Художник, Который хочет, чтобы увидели Его работу и показали другим. Так и настоящее искусство рождается из диалога (хоронящегося в молчании) с той красотой, которая становится гостьей нашего взгляда.

Я вглядываюсь в дерево, и оно оставляет свой отпечаток во мне. Я обращаюсь к другому человеку, и Христос являет Себя в его лице. Когда Бог ищет во мне Свою бездну, раскрывает Себя в ней, Он ждет от меня ответного гостеприимства веры. Ибо не только мое я смотрит на ближнего, но и Тот, Чье Имя не должно произноситься всуе, нуждается в моем зрении, чтобы видеть другого. Дерево, схваченное моим взглядом, также смотрит на меня. Вся тварь глядит на меня глазами Господа и просится в гости, дабы поселиться в раю, в человеческом *чистом оке.*

Очи бо Господни назирают всю землю, еже укрепити сущих сердцем совершенным к Нему (2 Пар. 16, 9).⁷



⁷ Не из упрямого консерватизма прибегаю к церковно-славянскому тексту, но ради точности; на Синодальный перевод Ветхого Завета, к сожалению, не всегда можно полагаться.

Несведущая мудрость детства

Все дети задают однажды один и тот же вопрос – сначала как бы тайком, а затем родителям, словно цепляясь за соломинку последней помощи: «А что было до меня?» Или так: «А где же был я, когда меня еще не было – здесь, с вами?» Родителям не всегда просто бывает справиться с таким вопросом. За ним стоит опыт, который от них ускользает. Ведь они знают, что сами явились на свет от случайного соединения двух биологических программ, повелевших когда-то двум телам соединиться. Однако нечто, стоящее за порогом разума, подсказывает нам, что не совсем это так. Только ребенок, не окрепнув умом, тянется к этому нечто, инстинктивно отталкивая от себя ту ничейную, недобрую пустоту, которая хочет быть его родиной. Он обладает смутной достоверностью, что за сегодняшним его существованием прячется что-то живое и личное, вмещавшее «меня до меня», откуда сегодняшнее его я вырастает как из чудотворного корня. Инфантильная эта игра догадок и прозрений, перед тем как опереться на логику, налиться тяжестью, пытается отстоять себя перед мышлением взрослых, которое вскоре одерживает свою неизбежную, нерадостную победу. Интуиция ребенка не имеет никакой защиты, как плод, созревающий во чреве, который хотят «прекратить». Его вопрошание относит его в область понятий, где наше готовое твердое знание не имеет соперников, ну а раннее детство не обладает собственными словами, которые могли бы передать эту непогасшую, еще лучащуюся в нем тайну. Мы берем эту лучинку и опускаем в мокрый песок.

О том несостоявшемся разговоре мы узнаем по следам произнесенных слов. Взрослея, ребенок научается передвигать мысли подобно предметам, ощущая их плотность, их вещность, их вес. Его прапамять закрывается, задвигается житейской мебелью. И все же след не стирается окончательно, и каждый из нас может вернуться по нему к тому корню, из которого вырос вопрос: «Где же я был, когда меня не было? Где тогда помещалось сегодняшнее мое я?» Позже мы догадываемся: все, что было и есть, воплощено в слове, а то, что мы хотим знать, погружено в безмолвие. Язык безмолвия доступен вере, которая умеет слышать знание, возникающее прежде слов. Из безмолвного, бессловесного знания рождается то, что есть и будет моей личностью.

Еще нет слова на языке моем – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно (Пс. 138, 4). Я еще не узнал себя самого, как мое существование уже было заполнено Твоим ведением. Лишь путем этого ведения мы можем приблизиться к истоку нашего я, «сотворить» память о нем. Ведь наша память не столько вспоминает, сколько заново творит прошлое в нас, тем более, когда оно – еще не наше, но целиком находится в Слове, созидающем наше существо. От нашей памяти требуется лишь согласие услышать неспешную работу этого созидания.

*Ибо Ты устроил внутренности мои
И соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои,
и душа моя вполне сознает это.
Не сокрыты были от Тебя кости мои,
Когда я созидаем был втайне,
Образуем во глубине утробы,
Зародыш мой видели очи Твои;
в книге Твоей записаны
все дни для меня назначенные,
когда ни одного из них еще не было*

(Пс. 138, 13-16).

Все это способна осознать душа каждого из нас, хотя ребенок и не догадывается, сколь разумен может быть его младенческий вопрос, правда, обращенный всегда не по адресу. Все «устроение» его, все «предсуществование» исходит от видения очами Божиими, как видение – от Слова, а Слово – от Отца. Я был «свернут» в любви, – говорит нам Библия, – любовь увидела и зачала меня; прежде чем я был создан, извлекла и соткала из небытия. Слово, Взгляд, Любовь – три вектора, ведущие к той благой, теплой, отеческой вести, которая образует исток всякого существования. Раннее детство – первая «дверь», которая открывается этой вестью, чтобы пропустить ее вперед до нашего созревания. Оно – подарок ко дню нашего рождения. Чтобы принести этот дар, Господь как будто выходит из *мглы* Своего обитания, так что, взглядевшись, мы можем заметить Его следы. По тем следам мы можем приблизиться к Нему, как будто заглянуть за видимую оболочку творения, в то время, которое не измеряется нашим прошлым или будущим, но наполнено непреходящей радостью, той, что вступает в мир, распахивается в младенчестве каждого из нас.

*Тогда я была при Нем художницею
и была радостью всякий день,
веселясь пред лицем Его во все время,
веселясь на земном кругу Его,
и радость моя была с сынами человеческими*

(Прит. 8, 30-31).

И в нашей жизни есть забытый час *веселия* Премудрости, и в нем – зерно нашего знания о Боге. Зерно умирает, чтобы принести плод, и этот плод – вера – как рождение в Боге. Она несет в себе пусть стершееся, но *веселящееся* воспоминание об участии в пире, откуда мы зачем-то ушли. Премудрость, о которой мы не ведаем, предваряет наше существование. Она шепчет о том, что оно началось задолго до нас. Вот почему, едва выйдя из рук Божиих, мы первое время еще храним в себе их жар.

«В детстве все вещи казались мне одушевленными», – прочел я недавно в воспоминаниях одного православного епископа. Наши первые контакты с миром, которые кристаллизуются в нас, почти сливаясь с нашей личностью, станут определять затем и волю к творчеству. «Во мне – таинственно! – уцелела невинность: первого дня, весь первый день с его восхищением – изумлением – и *доверием*. Для меня *всякий* – хорош (а *плохой* – больной)...», – это из Марины Цветаевой, ее голос узнается сразу.⁸ Всякая творческая новизна вырастает из сохранившегося в нас изумленного доверия, изначального *добро зело*. Нетворческих людей не бывает, как не бывает людей без детства, хотя большинству из нас удается отправить его в бессрочную ссылку, прижать его ко дну души до такой степени, что оно не смеет и всхлипнуть. «Я родом из детства», – говорил Сент-Экзюпери, как мог бы сказать всякий. Подобное происхождение вовсе не означает, что мы являемся в «разумную» нашу жизнь из некоего умильного облачка, превратившегося во взрослую слякоть. Это значит, что второй матерью моей стала память, а родиной – праздник творения. И когда-то они привели меня на *земной круг*, за которым, как за некой завесой, мелькнуло и тотчас отпечталось во мне лицо Отца.

Тот праздник (который вовсе не охраняет нас ни от ушибов, ни ран, остающихся на всю жизнь) возвращает нас к памяти о начале, об устроении мира. Те, кому довелось жить в детстве истории, помнили об этом лучше. Гераклит говорит в одном из фрагментов: «Течение мира подобно ребенку, играющему в бабки, это царство ребенка». Художник ищет, как вер-

⁸ Из записных книжек и тетрадей // Собр. соч. Том 4. – М., 1994, стр. 612.

нуться в это царство, складывая слова, образы, ощущения, словно разгадывая себя самого. «Разве судьба не сгусток нашего детства?» – спрашивает Рильке.⁹ Для взрослых оно остается местом, куда бездумно хочется убежать («как часто любимого вы обгоняли в беге блаженном неизвестно куда, на простор»¹⁰), или землей обетованной, откуда ведет путь к истоку, к первоначалу жизни, которая зачала нас.

Видишь, я жив. Отчего? Не убывают ни детство,
Ни грядущее. В сердце моем возникает
Сверхсчетное бытие.¹¹

Где хранится оно, то «сверхсчетное бытие» (überzähliges Dasein)?

Вспоминаю наши беседы с французским поэтом и мыслителем Клодом Виже (на конференции, посвященной мистике, в Тулузе, лет десять назад), иудеем по вере. «Быть евреем, – говорил он, – означает для меня возвращение к памяти о начале. Начало – это Тора. Памятью о ней, согласно одной из наших древних легенд, обладает зародыш во чреве, но на пороге жизни, когда ребенок рождается, проходит ангел и стирает все, что тот до этого помнил». Мы бы сказали, вслед за Иоанном Богословом, что начало – Слово, из которого вышло все видимое и невидимое. Быть христианом – значит хранить память о Слове, куда все должно вернуться. Впрочем, разве *обрезание сердца* (см. Рим. 2, 29), по удивительной формуле другого Апостола, не прививает нас к наследию Ветхого Завета, к его духовному стволу? Разве мы не дети Авраама, получившие в наследие веры и память о празднике творения и *веселии пред лицом* Отца? И не приоткрывается ли то Лицо за словами Христа?

*Истинно, истинно говорю вам:
прежде нежели был Авраам, Я есмь* (Ин. 8, 58).

Εγώ εἰμί.

Свет, просветивший каждого человека, говорит в нас: *Я есмь*. И за всяким я ребенка, в которое вложена память Авраамова, память человеческого рода со дня его сотворения, сокрыто *Я есмь* Предвечного Света. Его *Я* – в нас, как вечное, взрослое наше младенчество. Его слово пронизывает нашу память, собирая в ней «слова», логосы вещей, которые должны заговорить в нас, пробившись через толщу забвения. Вспомним Авраама; прежде чем он встретил Трех Путников у своего шатра, построил жертвенник Господу, поднял глаза к звездам на небе, Кто-то сказал ему: *Я есмь*. И если Авраам, отец всех нас по вере, будит память нашу, то память эта – Иисус, *бывший от начала*, и детство – лишь первая из дверей, которую Он открывает и входит пока еще беспрепятственно. *Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет* (Ин. 10, 9). Пажить – парусия, которая есть и наше прошлое, когда все было в Слове.

Прежде чем ты был, Я есмь.
Когда не будет тебя, в тебе буду Я.
Дверь твоей жизни – здесь.
Пажить вечного «есмь» – там.

⁹ «Glaubt nicht. Schicksal sei mehr, als das Dichte der Kindheit». Седьмая Дуинская элегия. (Пер. В. Микушевича) // Р.-М. Рильке, Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. – М., 1971.

¹⁰ Седьмая Дуинская элегия // Там же.

¹¹ Девятая Дуинская элегия // Там же.

Сохрани нас Бог от какого-то сентиментального или эстетического культа неких пеленочных, ясельных лет нашей жизни, ибо настоящее ее начало – всегда впереди нас. Переступив порог здешнего существования, мы оказываемся среди людей, орудий, предметов, окликаний любви Божией, бесшумно плещущей вокруг нас. «По крайней мере, в детстве что-то сверх былого за предметами скрывалось, и с будущим не сталкивались мы»¹². Наша задача – донести это «что-то сверх» до конца, узнать тень Тайны, которая пронизывала нашу жизнь, услышать в нем *Я есмь*. Оно само скажет нам о себе, если мы не глухи к любви. Детство лишь открывает нам нечто за «былым», которое былым еще не стало, не загрузило память, когда оно было родом откровения, свободным от всякого прошлого. Господь пользуется детством, чтобы показать на минуту Свой мир, сокрытый в Нем и обещанный нам. До рождения – вопреки Августину, верившему в неистребимую заразу греха, заключенного уже в сложении двух клеточек, делающих человека, – зародыш проводит тайно свое несложившееся, нематериализованное время в том саду, откуда были изгнаны его родители. Когда он рождается, его никто не спешит прогнать, он вскоре уходит сам. Но уйдя, он всю оставшуюся жизнь будет искать, как ему туда вернуться. Если найдет, то станет святым.

Святость – это детство, дозревшее до самого себя, достигшее *нажити* Слова, вложенного в нас, сумевшее открыться вновь тем дарам Духа, которые были в детстве получены. Не в том дело, чтобы найти какой-то чудодейственный ключ к запертой наглухо шкатулке воспоминаний, в которой наше гипертрофированное *я* прячет от чужих глаз свою секретную сущность. Все секреты открыты в «царстве ребенка», в том преддверии Царства, которое прозревается всеми, хотя именуется и по-разному. Царство Божие распахнуто изначально для всех. Детство и святость – это, в сущности, единое призвание. О том сказано яснее ясного:

Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3).

Это «как» в детях есть состояние, которое может длиться всегда, никогда не иссякнуть. Оно – как древняя фреска, покрывающаяся копотью, которая нуждается в непрестанном очищении. *Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите*, – как сказано у Апостола (1 Фес. 5, 16). Живите под взглядом Божиим, осмелюсь добавить, – с царственной памятью о нем.

У нас, у взрослых, у несвятых, нет той памяти благодарения, от Царства Небесного нас отнесло куда-то вдаль, «в сторону этики». Над «этикой» не стоит превозноситься, она не приведет нас на небо, но не даст соскользнуть на путь тех, кому лучше было бы повесить камень на шею. Оглядываясь на наш мир, можно сказать: не так уж и мало. Но не с того ли должна начинаться «этика» взрослых, чтобы защищать ребенка повсюду, где дарованное в нем Царство оказывается под угрозой? Начиная со всякого ребенка и кончая тем, что живет в нас самих.

«Мы, – говорит также Климент Александрийский, – существовали уже прежде создания сего мира, потому что сотворение нас решено было Богом гораздо ранее самого сотворения нас, и следовательно уже ранее своего сотворения мы существовали в мысли Божией...»¹³ Из мысли Его в здешнее существование мы входим через тень Царства, дверью несведущей мудрости, еще не умеющей отличить Слова от Безмолвия, просто жизни и того, что «сверх». В каждом ребенке творение повторяется, потому что Господь рассказывает о Себе по-новому.

*Кто мудр, чтобы разуметь это?
Кто разумен, чтобы познать это?*

¹² Четвертая Дуинская элегия // Там же.

¹³ Цит. по книге: Свящ. Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. – М., 1914, стр. 329.

(Ос. 14, 9-10).

III. Вымолвить: Бог



Родина слова

Нет замысла, какого б не вместила
Любая глыба мрамора. Творец,
Ваяя совершенства образец,
В ней открывает, что она таила.¹⁴

¹⁴ Микеланджело Буонарроти. Пер. Вяч. Иванова.

Другой скульптор сказал: чтобы создать статую, я беру камень и отсекаю от него все лишнее. Тот, кто занимается ваянием из «камня слов», мог бы повторить нечто подобное. Так поэт берет неочищенную словесную породу из привычной языковой повседневности, в которой пребываем все мы, и убирает из нее то, что заслоняет первозданный, им найденный смысл. Чтобы высечь статую из словесной глыбы, он снимает с нее то, что пристало и налипло к ней после миллиона словообменов. Он просеивает слова в их потоке, фильтрует, отбрасывая все, что не относится к сокрытому образу, который каждый из нас смутно ощущает и носит в себе.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.

(Б. Пастернак)

Но кто этот смысл изначально определил, из какой породы высек? Кто зачал его в нас для будущего рождения? Самая точная, тонко организованная речь и черновики наших разговоров прибегают почти к одному и тому же словарю. Остается загадкой: как из словесной трухи и непроглядной пыли вдруг появляется и озаряет нас краешек той невиданной истины, которая связует человека и Бога?

Эта истина должна существовать еще до всякой человеческой речи, задолго до того верного, откликающегося ей слова, которое, улавливая ее, извлекает из темноты. Как будто кто-то «проявляет» ее как фотографию с каких-то негативов, хранящихся в моей памяти, в отпечатках, оставшихся на моем существе. Я узнаю эту истину как весть о самом существенном, знакомом издавна. Окружающий мир из хаотичного и «сырого» становится иным, освоенным, очеловеченным моим сознанием, откликающимся некоей правде, которая заложена в нем в качестве первозданного сокрытого смысла.

Здесь, однако, начинается другая череда вопросов: в какой степени мое, схватывающее, впитывающее мир сознание принадлежит действительно мне? Откуда возникают все эти образы, которые я могу разделить с другими? Одни говорят, что они уже заложены в предистории всякого человеческого я, в том дрейфующем континенте ассоциаций, воспоминаний, впечатлений, всего того, что мы отсняли глазами и впитали ушами в течение жизни. Другие же возражают, утверждая, что в я каждого из нас уже спрессовано целое общество. Так, восприняв религию от родителей, от доброй няни, от ангела, коснувшегося меня крылом, я говорю, что верую в Бога. Но что значит «веровать» во всей полноте и многозначности этого слова? Чувство, вложенное в верование, может быть, и мое, но разве слово «Бог» не принадлежит языку, традиции, исторической памяти? Стало быть, моя вера, мое призвание в том, чтобы дать заново родиться этому слову во мне?

Секрет этого рождения – в исполнении имени в нас. Имя исполняется, когда вводит нас в общение с Тем, Кто укрывает и раскрывает в слове Свое бытие. Настоящий вопрос должен быть поставлен так: исповедуя нашу веру, действительно ли мы входим в общение с Тем, Кто наполняет вселенную и пребывает в нас, оставаясь всегда по ту сторону всего, что можно помыслить? Ведь истинное общение возможно лишь между существами, которые находятся в каком-то, пусть отдаленном, духовном родстве между собой, сохраняют подобие друг другу, по-своему отражают друг друга в себе.

За века до Микеланджело и Родена мыслитель, известный Церкви под именем Дионисия Ареопагита, высказал нечто, что перекликается с их интуицией. «Наподобие того, как ваятели, вырубая из цельного камня статую и устраняя все лишнее, что застилало чистоту ее сокро-

венного лика, тем самым только выявляют ее утаенную даже от себя самой красоту»¹⁵. Итак, сокрыт ли действительно в нас образ слова, притягающего стать «сокровенным ликом» и даже самим присутствием Бога, как и утаенная красота этого лика?

Если попытаться добраться до той красоты, следует отправиться за ней по ее следам, устраняя всякую не-красоту, снимая с видимого покровы, которые утаивают невидимое. *Ибо невидимое Его*, – говорит апостол Павел, – *вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы* (Рим. 1, 20). То, что неизреченно в сущности Божией, мог бы, наверное, сказать св. Григорий Палама, становится доступным восприятию благодаря энергии имен, наполняющей собой тварные существа. Сотворив животных и птиц, Господь *привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей* (Быт. 2, 19). Однако никакое имя не есть изобретение нашего мозга, созданное им из небытия. Подлинное имя есть открытие неведомой нам сущности, предсуществующей, сотворенной ранее и предназначенной к открытию. Человеку – до грехопадения – был дарован и мир невидимый, чтобы он мог извлекать из него «сокровенный лик» тварей, запечатленный в имени, помысел или замысел Божий о словесной сущности вещей. Однако сокрытый образ их может приоткрываться и после грехопадения в повседневных словах. Имя-слово несет свидетельство о душе живой или «личности» всякой твари, приведенной к человеку, или вещи, созданной им. И энергия общения, вернее, тайна причастия возникает между моей личностью и сотворенной вещью, а через нее – и между мной и Творцом. К Нему, впервые открывшему Себя как Тот, Кто есть, человек может подняться по лестнице имен вещей существующих. Они, вещи, выявляют свою словесную природу, предоставляя человеку, первенцу из людей, Адаму, неистребимому в нас, досказать главное – образ каждой вещи, приоткрывающийся в имени.

Быть может, мы здесь для того,
чтобы сказать: «колодец», «ворота»,
«дерево», «дом», «окно».
Самое большое – «башня» или «колонна».
Чтобы, сказав, подсказать вещам
сокровенную сущность,
неизвестную им.¹⁶

Сущность вещей доверена Творцом человеку и облечена в имена, которые озвучивают ее. Любые слова («колодец», «дверь»...) зывают к утаенному в них образу, к лику, запечатленному на них, к своему тождеству с вещами, в конечном счете к изначальной человечности, готовой всегда заговорить, «высказаться». Всякое имя подобно ответу на неслышный зов. Оно искрится забытой истиной, промыслом Божиим или изначальным призванием, предпосланным этой вещи. Имя – путь, который ведет нас к началу всего сотворенного (Богом или человеком), обладающего своим языком, желающего выговориться через нас.

Здесь время высказыванья,
здесь родина слова.
Произнося, исповедууй.¹⁷

¹⁵ Цит. по изданию: Мистическое богословие. – Киев, 1991.

¹⁶ Девятая Дуинская элегия // Там же.

¹⁷ Девятая Дуинская элегия // Там же.

Слово, силой которого всякое произнесенное, откликающееся Творцу имя общается с сущностью вещи, заключает в себе энергию «исповедания» вещей, которое совершается через нас. Когда мы произносим «дерево» или «река», не выдаем ли мы друг другу секрет, который Бог вложил в них, как и в нас? Он заключил нас в общение друг с другом, и секрет Его – на устах у всех, тот секрет, что движет солнца и светила.

«Тот, кто не любит деревьев, не любит Христа», – сказал Нектарий Эгинский, греческий святой начала прошлого века. Не сумел ли он разглядеть за деревьями тень Иисуса? Деревья «исповедуют», что грехопадения не было среди них, что не их выгнали когда-то из рая. Можно воспринимать чудо всякого дерева, «не веря воскресенья чуду» (как заметил Г.С. Померанц, такой была вера Альбера Камю, впрочем, не только его), неся в себе неутоленную ностальгию по «небываемости вселенной» или по вечно раскрывающейся новизне жизни, проглядывающей за деревьями.

Мне часто думается —
Бог Свою живую краску кистью
Из сердца моего извлек
И перенес на ваши листья

(Б. Пастернак).

Ибо и цвет – имя. Разве не то же самое можем сказать мы об именах дорог, колодезцев, лиц? Или о языке морей, облаков, тончайших инструментов, изготовленных человеком? Как не вспомнить об именах, улавливающих облик человеческого тела, передающих рисунок улыбки, повадку зверя? Они выписаны цветами дыхания Божия, из реки Его, которая течет в моих жилах. Путь к ней проходит через каждое из имен. И не надлежит ли нам обратить слух к любви, которой веет от них? Всякая любовь отмечена знаком причастия и пробуждения памяти. Некогда я оставил страну, в которой я был на *ты* со всем творением. Я мог сказать *Ты*, даже не зная Тебя, благодаря вещам, сотворенным Тобою для меня, к которым Ты дал мне прикоснуться, которые позволил созерцать, а затем и творить заново из образов, дарованных мне, озвученных (или выписанных) Твоим Словом.

Правда, между именами сущего и их сутью не существует подобия (о чем предупреждал еще св. Василий Великий). Подобия нет, но имена, данные человеком, оставляют свою печать, как бы отпечаток на них. По ступенькам первых слов-оттисков, немногих, но воспринятых в качестве небывалого дара, можно двигаться к Тому, Кто приносит их мне: от дерева к траве, от ребенка к женщине, от неба к тому, что не вмещается небом. Этот путь ведет к Тебе, Слову, Лику, Спасителю, Тому, Кто спрятан в сердцевине всякого слова, которое мы по Твоему благословию открыли. Самые простые слова образуют алфавит, которому Господь научил нас. И за звучанием всякого слова не слышится ли непроизносимость тайны Отца?

«Живая вода говорит во мне, взывая изнутри: иди ко Отцу», – писал св. Игнатий Антиохийский на пути к мученичеству.¹⁸ К Отцу несет меня поток некогда произнесенных имен, вытекающий из рая. Эти слова были совсем юными и уже вполне созревшими. От них исходила энергия Того Художника, Который создал смысл их прежде произнесения. Когда они были сказаны, каждая вещь, которой они касались, откликалась: вот я! Всякая тварь говорила: «Посмотри на меня, прикоснись ко мне. Поговори со мной, дай мне имя твоей любви. И научи меня говорить!» Всякое слово заключало в себе весть совершенно особую, личную, и Бог ходил *во время прохлады дня* (Быт. 3, 8) среди этих вестей. Не записана ли тайным шифром история Адама в Эдеме на том языке, на котором мы разговариваем?

¹⁸ Послание к Римлянам. Глава VII // Раннехристианские Отцы Церкви. – Брюссель, 1978.

Поток воды живой орошает мир вокруг нас и шепчет нам что-то весной и летом, зимой и осенью. Та вода наполняет каждое слово подлинностью, когда мы открываем ее исток. Как только этот исток открыт, человек становится дверью, устьем, через которое живая вода оmyвает все бытие. «Человек – пастух бытия», – говорит Хайдеггер в «Письме о гуманизме». Если же мы захотим выразить это более точным, существенным образом, не прибегнем ли мы к именам, которые Иисус избрал для себя? *Я – дверь овцам. Я – пастырь добрый. Я – источник воды живой.*

Бог наделил Адама способностью схватывать и обозначать первоначальную красоту мира свободными человеческими именами. Однако самым большим из Его даров была способность к раскрытию собственного Его имени. Оно дано нам с самого начала. Дано в памяти, в интуиции, в речи, сокровенном лике, утаенной красоте, которая поджидает нас всюду. Это имя нужно уметь найти на забытой родине слов. Ибо каждое приближение к имени Божию ведет нас к истоку непостижимой, словно скрывшейся красоты, растворенной вокруг. Эта красота пребывает с нами всегда, хотя приоткрывается изредка. Когда мы находим ее следы, в нас просыпается горечь, что мы пришли слишком поздно. Время встречи с ней всегда позади, но и по неизреченной милости всегда впереди – в нас самих.

Блаженный Августин был одним из тех, кто, приблизившись к ней, открыв ее в себе, сумел исповедать за всех нас:

«Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я – был внешним и там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вlamывался я, безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание Свое; я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя – алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем».¹⁹

¹⁹ Исповедь. Книга 10, XXVII // Богословские Труды, 19. – М., 1978.

Приглашение, вырезанное на камне

Спросим: каков первый знак нашего существования на земле? Восприимчивость к неизвестному. Какое открытие мы делаем прежде всего? Большинство из нас, те, у кого есть мать, обретает ее по взгляду, по рукам, по голосу, по звуку его, который несет в себе какой-то запас уютной, живой теплоты. Невесомое вещество звука слетает с материнских губ, касается нас, исчезает, возникает и скрывается вновь. Но скрывается не навсегда и недалеко, от многих ласковых незаметных касаний оно делается неотъемлемой частью нашего рождающегося *я*. Это срастающееся с нами звуковое тело, становящееся в нас и плотью, и смыслом, зовом, укором или побуждением, словно зацепляет за все окружающие нас предметы, вводит их в орбиту нашего существования. Каждая из вещей получает свое наименование, обретает лицо, прежде всего потому, что лицо есть у нас, потому что у нас есть имя.

Имя – универсальное средство общения, в котором происходит непрерывный обмен между словесной формой нашей вести и содержанием, которое в нее вложено. Так, в русском языке можно найти десятки игровых ситуаций, в которых наше имя ведет игру всерьез и в шутку, принимая или посылая другим любовь, иронию, нежность, фамильярность, угрозу, презрение, почтение с оттенком презрения, чувство дистанции с завистью, зависть без дистанции, упрек, мольбу, суд... Обращаясь к человеку по имени, можно обещать ему бессмертие или приговаривать его к смертной казни в сердце своем, но тем же именем можно тешить и пеленать его, как младенца, облизывать, как кошка котенка, можно отдавать приказы, передавать нечто по секрету...

И потому имя, которое носим, не просто болтается у нас как солдатский номерок на шее, оно по-своему впитывает в себя все, к чему прикасалось, наполняется воздухом, в котором носилось и произносилось. Мы живем со всеми вариациями наших имен, сохраняем их в памяти, ощущаем их как домашнее тепло, в котором оживает внезапно все, что с ним когда-либо происходило. С годами мы как бы обрастаем собственным именем, которое растет медленно, как куст на земле нашей жизни. Оно может стать мудрым как Конфуций, распутным как Казанова, кряжистым как пахарь на неплодной земле, сжимающим вам горло как Малюта, намолненным как обитель отшельника. Оно словно ручеек, по которому в нашу память перетекает обступающая нас новизна мира, оно – как малое ядро нашего существования, в котором готова уместиться вся человеческая вселенная.

Моисей! Моисей! – позвал Голос из горящего куста, и человек отозвался Голосу: *вот я* (см. Исх. 3, 4). Ответ означал: вот он *я* в слове, которое заставляет меня обернуться, обнимает мое все, что есть *я*. Но не только мое. Откликнувшись, я утверждаю и бытие Голоса, а за ним и реальность непроизносимого, непостижимого Сущего, открывающегося в самоочевидности Того, Кто говорит о Себе: «есмь». Голос из куста определил, окрасил собой существование, так же как и само имя Моисея. Оно стало средством связи, устойчивым контактом с этим безымянным и обжигающим Присутствием, войти в которое можно было лишь через очищение себя и собственного имени. *Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая,* – говорит Господь (Исх. 3, 5). За всяким буквальным смыслом Библии теснится, набега друг на друга, неисчислимая череда иносказаний. Не сандалиями, но голыми ногами должен ты касаться Господней земли, стоять на ней с обнаженным сердцем, с именем, произнесенным Голосом из куста, и оно уже не должно более смешиваться с житейскими кличками. Ибо все Десятисловие, за которым *Закон и пророки*, а в них сам огонь Неопалимой купины, будут даны «другу Божию», коего Бог позвал из огня.

Позвал, стало быть, избрал и освятил Своим голосом, ибо имя Моисея, через которое Господь вошел в общение с избранным Им народом, как и всякое имя, каким бы ни было оно случайным, несет в себе очаг, куда может сойти огонь с неба и поселиться в нем. Имя – точка,

в которой мы пересекаемся с миром, окружающим нас, место встречи меня и Сотворившего всех нас, ибо Он всегда выбирает язык, который нам более всего внятен, тот, что глубже всего врезался в нашу память, потому что Он окликает нас именно из той глубины.

Однако Бог приготовил для нас иное, «неслучайное» имя, которое Он держит до времени в секрете. Иногда Он оставляет его на нашем пути, чтобы мы сами нашли его, а иногда прямо указывает на него, когда имя человеческое связано с миссией, которую надлежит исполнить. *Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с Ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него* (Быт. 17, 19). Имя сына указывается и Захарии, отцу Иоанна Крестителя (Лк. 1, 13); имя грядущего в мир Спасителя провозглашается и при ангельском приветствии Пресвятой Деве (Мф. 1, 21).

Есть тайна имени, она слегка приоткрывается в Новом Завете. И потому Петр в своей единственной речи перед синедрионом, *исполнившись Духа Святого*, как бы уже *urbi et orbi*, народам и векам, произнес эти странно торжественные слова: *Ибо нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись* (Деян. 4, 12). Слова эти горным эхом прокатились по истории, разбились на тысячи отголосков и интонаций. Мне почему-то то и дело слышатся они в исступленном исповедании Достоевского, когда после каторги он, словно споря с собой, вознося свою осанну из горнила сомнений, повторял: нет иного спасительного имени под небом, кроме имени Распятого. Но как имя может спасти? Как может оно приобщать жизни Божией, соединяться со смертным нашим именем? Имя Христово, нестираемая печать Его Царства, Его славы, и наш «вид на жительство» в сем обреченном теле, в сем преходящем мире должны встретиться, пересечься, обменяться вестями. Этот взаимообмен есть момент причастия, когда происходит таинство имени. И потому в нашей литургии причащающий всякий раз произносит имя причастника. Бог знает его и без нас, но есть правда в том, что в таинстве Тела и Крови участвует и наше земное имя, которое произнесет и Господь, если захочет заговорить с нами. Однако Его обращение к нам несет в себе и другое, нездешнее имя, то, что хранится в памяти Божией, причастно ко Христу, предназначено для жизни будущего века. В этом имени – личное послание Бога каждому из нас, наделяющее миссией, которую надлежит исполнить, обещающее победу, которой надлежит добиться.

Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает (Откр. 2, 17).

В древности камень служил алтарем для жертв. Может быть, Иоанн мыслил так: на алтаре оставляют ветхую душу, чтобы облечься в новую, и ей дается новое имя, знаменующее ее преобразование. Таков, видимо, смысл перемены имени при монашеском постриге. Имя посылается подобно манне, оно – как пища Господня. Или, возможно, новое имя есть возвращение к тому, которое Бог дал нам при творении. Сотворение человека начинается с избрания, за которым следует наречение имени. Это наречение есть акт познания и чудо любви. Об этом в прикровенной форме говорил уже апостол Павел. *Ибо кого Он предузнал, тем и определил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил* (Рим. 8, 29-30). Призвание – это узнавание двух имен, человеческого в Боге и Божия в человеке, подобно двум рукам, тянущимся соединиться на знаменитой фреске Микеланджело. Руки соединяются, Бог и человек узнают друг друга по голосу, так возникает новое «прославленное» имя, то, что написано на белом камне.

«Белый камешек, – пишет американский библист, толкуя пророчество Иоанна, – атрибут обычая, известного в Малой Азии, состоящего в том, что царские приглашения на пиры вырезывались на маленьких камнях. То, что имя неизвестно никому, кроме адресата, выражает в апокалиптических терминах некую особую личную прерогативу, а также создает ореол

таинственности. То, что имя – «новое» (ср. Ис. 62, 2), предполагает преображенное явление того, кого Бог считает истинно приглашенным».²⁰

А вот толкование нового имени у о. Сергия Булгакова: «Так выражается мысль об особом таинственном откровении, содержащем «новое имя», которое названо будет в будущем веке, а может быть, подается уже и в теперешнем того удостоенным».²¹

«Имени тогда придавалось огромное, священное значение, поэтому получить новое имя означает какой-то переворот в жизни... Это относится не только к истории церквей, но и к каждому из нас, потому что каждому, кто сохраняет верность, Господь даст новое имя. Каждый знает по себе, что есть нечто такое в духовной жизни, о чем невозможно ни рассказать, ни поведать, потому что это скрыто в глубочайшем тайнике».²²

Толкования сходятся. Их можно приводить еще и еще.

Ясно, что Бог призывает человека из этого тайника, что уже при рождении человек получает приглашение на пир Агнца. Вместе с тем он призывается к брани за место рядом с Ним. *Ибо много званых, а мало избранных* (Мф. 20, 16). Христианин рождается с двумя именами, одно из них дается при рождении для этой жизни, другое – имя избранника, получающего награду в ожидающей его брани. Наше подлинное имя сокрыто в Боге, и за него предстоит бороться. Это имя должен открыть в себе *сокровенный сердца человек* (1 Пет. 3, 4), вернувшийся к своей изначальной природе, запечатленной образом Христовым.

Однако победа состоит в том, чтобы в приглашении, которое посылается нам, открыть также имя Пригласившего, заключенное в немоте камня. Ибо в нашем новом, «белокаменном», имени Бог нам дарует Свое, то, что дается лишь победителю... (Не оттого ли о. Павел Флоренский так странно настаивал, что в Боге мы должны почитать прежде всего Его имя?) Почитать имя Божие – значит отдавать Ему до конца свое. Ибо в соединении двух имен особым образом являет себя тайна Воплощения. И потому до явления Сына Божия, до печати Духа Святого, мы не знали и имени Отца. «Ведь все божественное, явленное нам, – говорит автор Ареопагитик, – познается только путем сопричастности».

«Под сопричастностью, – комментирует этот текст преп. Максим Исповедник, – надо разуметь – имена. О сопричастности же он (Дионисий) говорит о той, какая нам доставляется от самого Бога».

И тотчас добавляет в следующем комментарии:

«Заметь, что имя «Бог» показывает не сущность и не то, что такое Бог, но некое благодеяние по отношению к нам; и что наименования для Бога мы создаем из даров Божиих, которым оказываемся сопричастными».²³

Отцы наши ели манну в пустыне (Ин. 6, 31), и манна была для отцов одним из даров или именованний Божиих. Так и побеждающим дается новое имя, как манна, как причастие жизни с Богом, чтобы они, произнося имя Божие, были, как говорит преп. Максим, «охвачены святым молчанием».²⁴

²⁰ Ч. Гиблин. Открытая книга пророчеств // Simvol. – Paris, 1993, стр.51. (Пер. О. Меерсон).

²¹ Прот. Сергей Булгаков. Апокалипсис Иоанна. – М., 1991, стр. 34.

²² Прот. Александр Мень. Откровение Иоанна Богослова. Комментарий. – Рига, 1992, стр. 63-64.

²³ Дионисий Ареопагит. О божественных именах (2, 7). – СПб, 1995, стр.65.

²⁴ Там же.

Вещество молний

И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется (Мф. 10, 22).

Ненавидимы – кем?

После того, как в начале IV века прекратились гонения, а где-то еще до того, некоторые христиане, из самых ревностных, уходили из безопасных мест, выбирая для себя жестокое, беспощадное к плоти житие. Они становились отшельниками, насельниками пещер и пустынь. Было бы, пожалуй, романтично неточно называть подобный выбор поиском одиночества. Одиночество на голой земле ограждало от мирской суеты, но вместе с тем оно словно свирепело, оборачивалось когтистым зверем, с которым дрессировщики запирали себя в одну клетку. Только обуздав его, укротив, застрашав, можно было из клетки вырваться и спастись. Пустыню, как и мученичество, следовало *претерпеть до конца*, отразив нападения невидимого ее воинства. Ибо то, что казалось мертвым безлюдьем и давящим на плечи воздухом, делалось вдруг ядовитым, шипящим, жалящим. Здесь являлись пустынножителям настоящие хозяева пустоты, и сам воздух становился полем брани. И они вспоминали о том, что Сам *Иисус*, – по слову Евангелия, – *возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола* (Мф. 4, 1). По Его примеру, все, кто хотел выстоять против врага, отправлялись непосредственно в самую его вотчину, чтобы там, под плавающим небом, оказаться с ним один на один. В союзе лишь с именем Господним – против *духов злобы поднебесных* (Еф. 6, 12).

Бесконечно произносимое в молитве, оно становилось защитой и оружием. Им наполнялась и расцветала пустыня, полная падших ангелов. Оно служило утешением и лекарством, питьем и прибежищем. Это имя отгоняло «сонное уныние», пронизывало дневной зной и ночную стужу. С ним нужно было утолять голод, терпеть болезнь, принимать смерть. Только молитва и имя Божие, в этом была суть того *огненного искушения* (1 Пет. 4, 12), которого там искали. Раскаленная пустая земля оказывалась невиданной школой очищения. Главный урок в ней состоял в практике обнищания до последней крайности, в кенозисе чувств, впечатлений, образов, помыслов, слов – всего, что есть в нас.

В городах недоумевали: зачем же надо было непременно куда-то бежать? Что за необходимость заставляла пустынников начинать поиск Царства Небесного с территорий, напоминающих скорее предместья ада? Почему, уж если мы так печемся о душе своей, не заняться ею вдали от шума городского, на одной из тех италийских или византийских вилл, что иной раз, казалось, почти уже смыкались оградой с земным парадизом? И вправду, те, кто не познал *так называемых глубин сатанинских* (Откр. 2, 24), могли вполне обходиться без подобных крайностей, довольствуясь религией, которая умещалась в солидных, торжественно носимых книгах и столь уместно звучала во взволнованных воскресных проповедях. Разве не одна и та же истина обитала в пустынях и в городах? Можно было посещать храм Божий, выстаивать службы, не слишком длинные, опускать несколько мелких монет калекам и оборванцам, а дома и глаз не подымать на стройных своих рабынь. Но выжженная земля притягивала к себе не тех, кого называли «добрыми христианами». Туда отправлялись те, кто открывал ее в самих себе.

Пустыней было пространство, в котором не было Бога, но были – *мироправители тьмы*. И вот оттуда их и предстояло изгнать, чтобы, вернув эту землю Начальнику Жизни, сделать ее садом Эдемским. И приготовить путь Господу, чтобы Он мог свободно ходить по саду *во время прохлады дня*. Для начала следовало убрать многопудовые камни, вырыть колодец, оросить землю. И оборонять ночью то, что было сделано за день. Отшельничество становилось вызовом неприятелю: что ж, нападайте, я здесь весь перед вами, но *Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся* (Пс. 26, 1); нет у меня защиты иной, кроме имени Его, и *не убо-*

ишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень (Пс. 90, 5-6).

Доводилось ли вам видеть пространство между небом и землей, исполосованное молниями во время грозы? Если можно было бы сфотографировать духовный мир, то такой, наверное, была бы фотография этих молитвенных битв, которые вели тогда (и, может быть, где-то ведут до сих пор?) насельники египетской или северной Фиваиды. Имя Божие словно претворялось здесь в «вещество» световых нитей, связующих небо и землю. Энергия, несомая этим именем, разряжалась в молниевидных вспышках, освещавших «сатанинские глубины», которые угнездились в каждом из нас, но открываются только подвижникам. И когда вспышки пронизывали их, все сатанинское уходило, проваливалось, таяло, «яко тает воск от лица огня».

Слова, которыми они молились, знал каждый, но дело было не в знании. Одни фразы могут быть звуковыми или смысловыми шариками, лопающимися в воздухе, другие – нести в себе сгустки неведомой мощи, что взрывались, встречаясь с чужеродной им силой. Одни и те же молитвы, читаемые при изгнании злых духов – мне приходилось видеть эту власть слова при экзорцизме, – или оставались лишь славянским текстом, который бубнили речитативом, или становились тараном, врезавшимся во врата ада. Господь не открывает Себя в потоках часто повторяемых слов, но бывает так, что они вдруг самовозгораются, словно становятся Неопалимой купиной. *Да святится имя Твое* – взывали молнии, да наполнит оно собой все что есть, начиная с грешной и блудной души моей. Да изгонит оно власть тьмы, обступающей меня со всех сторон. Да позволит оно мне, наипоследнейшему из рабов Твоих, приобщиться огнепопадающей сущности Божией, превосходящей всякое имя на земле.

Бог – это океан сущности, говорит св. Григорий Богослов. Тот океан, что плещется за видимым обликом всякой вещи, за звуком всякого имени. В нашем речевом обиходе он привычно именуется любовью. Да, слово это давно обессолилось, обесцветилось, стало похоже на обмылок, выскользящий из рук. Оно оказалось замешанным в те словесные игры, куда затянули его тщеславие и похоть; мы хотим «заниматься любовью» со всеми словами, которые оказываются в нашем распоряжении, ласкать их, использовать, поедать, обладать ими, проникать в них, навязывать им новые роли, наконец, клонировать. Человек ощущает себя господином имен, которыми он манипулирует, подчиняя их капризной власти временщика. Наименование всякой вещи подобно раковине, которую выбрасывают, чтобы съесть устрицу, или скорлупе, которую раскалывают, чтобы добраться до ядра. Имя Божие «потребляется» чаще всего именно так: мы разбиваем скорлупу, чтобы добыть ядрышко смысла, искорку тайны, зерно того, что прорастает и прячется в нас. И она порой оказывается пуста, потому что без имени не бывает и сущности. *Рече безумен в сердце своем: несть Бог* (Пс. 13, 10). Лев Шестов, комментируя этот стих, говорит, что иногда слова безумца действительно служат выражением духовного помешательства (в библейском смысле), но порой они говорят о голоде, который рождает пустота. Тогда и они становятся началом пробуждения. Мы боимся пустоты и заполняем ее целиком собой, и эта полнота порой принимает вид философии или мистики. В этом случае даже «Бог» в нашей речи может стать идолом. Мы так часто износим это имя из уст, что давно потеряли ощущение невероятной плотности его «вещества».

Блаженны нищие духом (Мф. 5, 3), но блаженны также и те бедняки, которые не понастроили себе житниц, засыпанных доверху подходящими ко всякому делу речами. Чтобы заговорить перед лицом Божиим, надо опустошить себя от слов. Суметь обеднеть, обнищать до крайности. Не оттого ли самый радикальный, упорный поиск Царства Божия происходит всегда в тех краях нашего мира, которые дальше всего отстоят от образов райских пейзажей? Почему имя Божие скорее, прямее приходит к нам из пустыни, из крайней скудости? Не будем лукавить: едва ли нам, лежащим в теплую и чистую постель, будет когда-либо дано по-настоящему узнать об этом. Но по свидетельству других мы знаем, что это именно так, и нам дано лишь удивиться их опыту. Бог пробуждается, открывает Свое присутствие там, где самые пре-

красные по смысловой и звуковой плоти слова исчерпывают себя, оказываются ненужными. Авраам, первый из верующих, уходил в пустыню, чтобы услышать голос Того, Кто откроется ему и повелит куда идти и что делать. Но его обращение было возвратом к изначальной, адамовой вере. Так называемые «боги», которые явятся позднее, были уже плодом истолкования несправедливого каинова богатства. Имя Божие единственно, ибо оно указывает на Того, Кто не выносит не только каменных, но и словесных изваяний иных «богов».

В секте ессеев существовал обычай при переписывании рукописей, прежде чем решиться записать имя Божие, погружаться в воду и производить омовение всего тела. Это имя не могло быть просто словом, оно должно было сделаться обрядом. Возможно, это был пророческий знак того, что станет потом крещением. Вероятно, ессеи, которые были почти современниками Иисуса, воспринимали смысл имени Божия как бы уже стоящим в *тени будущих благ*. Они понимали, что оно несет в себе иную, неведомую нам глубину общения. Будучи записанным, произнесенным или даже мелькнувшим в мысли, это имя становится событием, которое остается и длится в нас. Представим себе тот ритуал: всякий раз надо было снять одежды, хоть ее в тех местах было и немного, подойти к купальне, погрузиться в воду, почувствовать всем телом ее прикосновение, и с этим ощущением вернуться к работе, молитве, общинной жизни. По сути, каждый раз это было как бы предпразднеством Богоявления. *Имя чудно*, его можно праздновать, им можно омыться, погрузиться в него целиком.

Я открыл имя Твое человекам, – говорит Иисус в Первосвященнической молитве (Ин. 17, 6), и это слово Его как будто ударяет в меня какой-то правдой. Имя Божие у всех на устах, но для того, чтобы открыть его в себе, нужно пройти путем мучительного очищения. Меру его каждый выбирает для себя сам. Выбирает свой зной, свое одиночество, свои страхи и брани, наконец, труд для пропитания, чтобы добраться до собственной души, до той клетки ее, где хранится заповедное имя, связующее нас с Господом.

Казалось, эти люди вступали в бой после всеобщего поражения. Та крепость, которая называется миром, давно взята, весь свет в руках сатаны, неприятель хозяйничает повсюду. Остается последний бастион, но его-то взять никогда не удастся. И вот с того бастиона начинается отвоевывание собственной пустыни страстей и помыслов, выжигание гнезд сатанинских. Люди уходили в пустыню, чтобы победить ее в себе. Искали затвора, который должен был выразить внутреннее безмолвие. Потому что с именем Божиим можно высекать огонь, а не сплетать искусные речи. Отклик этого имени можно услышать в каждой вещи, но в то же время за ним нужно уходить в тишину, сбрасывая с себя груз бесполезных формул. Ибо сказать «Бог» так, как Он того ждет, – значит вернуться к истокам нашего бытия, к его изначальной бессловесности. Выйти из функций и ролей, прожектов, одуряющих нас картинок. И наконец отодвинуть собственное *я*, жиреющее от накопленного богатства. И тогда в этом обнищании Бог Сам произносит, износит Себя. Как именно – невозможно объяснить словами. Но безо всяких объяснений пришло понимание: после того, как перестали исповедовать Бога мученичеством, нужно было научиться открывать имя Его в невидимой брани.

На протяжении нашей жизни Сушью принимает множество имен, означающих существующие вещи. Имена рождаются, растут, принимают различные образы. Само наше рождение, как и все этапы нашей жизни, страдания и радость, плен и свобода, голод и пир, предчувствие рая и страх ада несут на себе печать имени Божия. *Время обнимать, и время уклоняться от объятий* (Екк. 3, 5). Время говорить о Боге складной речью и время нести Его в себе молчанием.

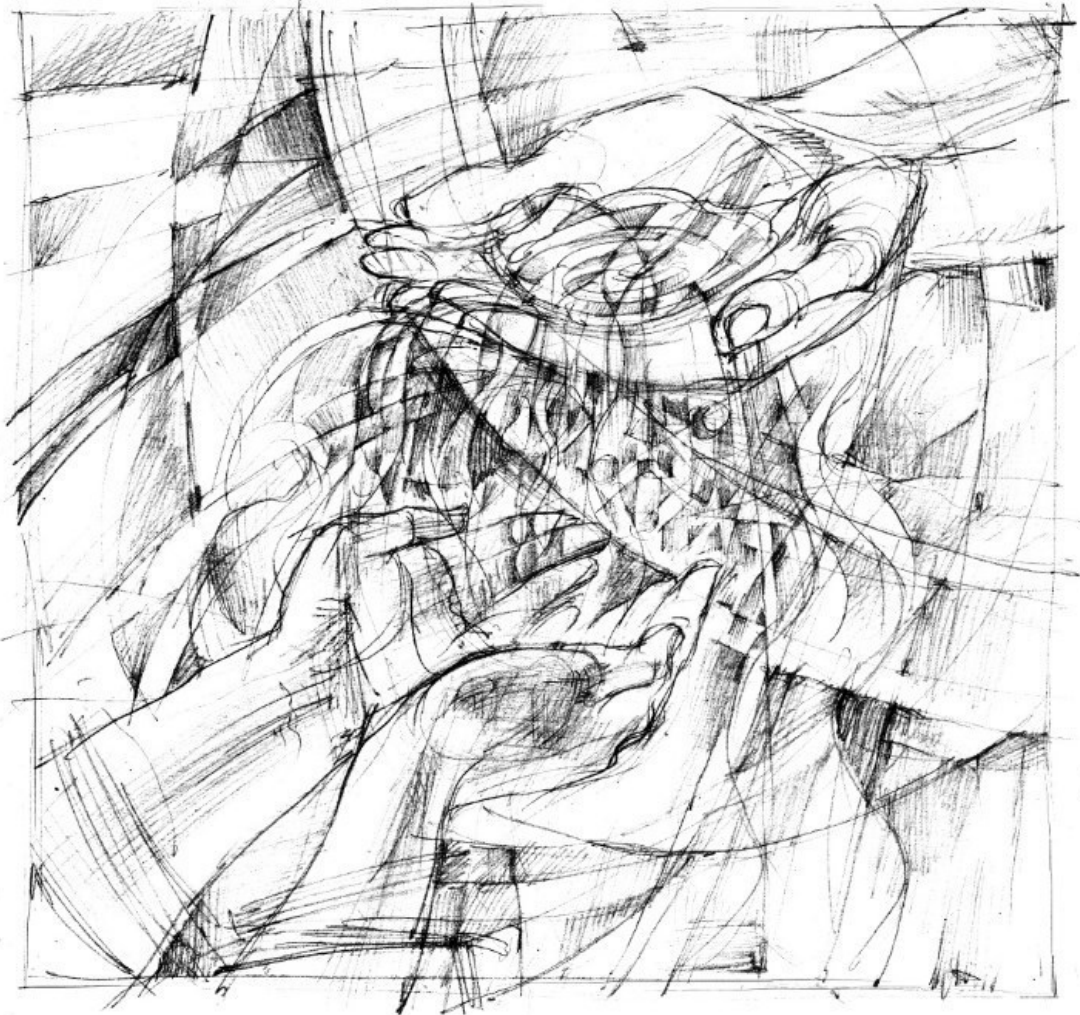
Вымолвить «Бог» – значит стать причастным этому имени. Его нельзя толочь в ступе слов чужих. Мы призваны к тому, чтобы произносить это имя, самое неисчерпаемое и загадочное из человеческих именовании, перед лицом Того, Кого мы им называем... Имя Божие соучаствует в эросе творения, оживающем в евхаристической тайне мира. Но оно звучит также и в умирании эроса. Когда мы произносим «Бог», мы исповедуем также наше бессилие говорить

о Нем всей крепостью своего изначального, сотворенного Богом я. *Верую, Господи, помоги моему неверию* (Мк. 9, 24). Говорю, Господи, внемли тому, что не умею сказать.

Открывший имя, научи нас услышать его! Дай нам призывать Тебя пустыней, нищетой, оскудением, надеждой, всей жизнью, всей смертью. Мы должны благословить и сестру нашу, телесную смерть, как говорил св. Франциск. Смерть – последний затвор, предельная скудость. Но над той пустыней вспыхнет однажды молния имени...

«Чаю воскресения мертвых...»

IV. Молиться Богу



Искусство быть малым

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания (Быт. 3, 7).

Первым плодом грехопадения Адама и Евы были открывшиеся глаза. Глаза эти впервые заметили наготу. Но что же они узрели такое, чего не видели раньше? Нагота стала болью их взгляда, недобрый вестник стыда, т.е. сознания некоего тягостного и интимного различия. И они *сшили смоковые листья*, чтобы защититься от чужих глаз. Бог стал Другим, а другой посторонним. Они захотели спрятаться от собственной незащитности перед Творцом и друг другом. После грехопадения нагота оказалась нищетой, которую надо было непременно скрыть как нечто уязвимое и постыдное перед внешними. Стыд проистекает от охранительного инстинкта, свидетельствующего о мучительном осознании неприкрытой голости нашего *я*, то, что видимым образом выражает себя в сокрытии признаков пола.

Но робость тела, не желающего выставлять себя целиком, выдает нечто более существенное. Чувство стыда понуждает нас охранять что-то свое, нищенски личное, сделать *опоясания* вокруг своей беды. Беда заключается в том, что наше *я*, отделившееся от Творца, со времен прародителей мучительно ощущает свою наготу перед Ним. Именно в этом древнем, необоримом, хотя и вытесняемом ощущении стыда перед Богом следует искать источник разрастания нашей самости. Она побуждает каждого старательно укрывать себя и вместе с тем одержимо настаивать на «воле к власти», воздавать себе видимый или невидимый миру культ. Однако тот, кто более о том печется, острее чувствует свою уязвимость. (Не приходило ли кому в голову осмыслить с этой точки зрения философию Ницше?)

Живущий во мне грех (Рим. 7, 17) не довольствуется только мною, но разрастается метастазами в своем притязании сделаться *сверх-я*. Всякое влечение к обладанию кем-то или чем-то выявляет «проект», направленный на нечто сверхчеловеческое. Опухоль *сверх-я* живет за счет других, требует у них славы или вождеует власти над ними, распространяясь над все большим фрагментом мироздания. Кто-то должен иметь в своем повиновении толпы, а другому достаточно чисто интеллектуального господства: пусть моя мысль водит на поводке иные идеи, чужие головы. Предельное, самое затаенное желание человеческого эгоцентризма – стать «богом», как обещал ползучий хитрец, который ведь может сказать и правду, хотя только наполовину.

Возьмем простую вещь – деньги в богословском их аспекте; откуда берется эта неумная и кажущаяся столь естественной жажда пожирать их в количествах, которые иной раз бесконечно превосходят наши прямые потребности (быть сытым, одетым, согретым, жить в собственном доме...)? Тайны здесь нет никакой, деньги – место инвестиции моего *я*, которое позволяет ему наращивать свой душевный свой капитал до бесконечности. Полный сундук, т.е. банковский счет служит моральным эквивалентом нашей способности обладать, иметь при себе вещи, пусть даже и виртуально, нам абсолютно ненужные.

Я царствую! – Какой волшебный блеск!»,
Послушна мне, сильна моя держава... —

бубнит себе под нос скупой рыцарь – и разве непонятно, откуда исходит волшебное это сияние? Философски выражаясь, из той самой имагинативной державы, населенной всевозможными призраками и ролями одного *сверх-я*.

Но в деньгах ли дело? Не от того ли златого, волшебного блеска берется желание иметь, как говорили в XIX веке, донжуанский список попрестижнее да подлиннее? Разве телесные импульсы не служат в данном случае лишь для удовлетворения своего рода злодуховной потребности – владеть как бог другими человеческими существами? Не сексуальный позыв, а скорее скулеж нищей души скрывается за человеческой комедией романов. Да разве не то же самое стоит за всякой человеческой амбицией, будь она грандиозной или совершенно ничтожной? Кто живет мечтой иметь розу в кабине роллс-ройса или Мисс Вселенную на собственной яхте, другой готов голодать, чтобы собрать лучшую коллекцию русского авангарда, третий воспален любовью к собиранию древних монет, четвертый видит себя на троне автора книг с самыми большими тиражами, у пятого смысл существования в том, чтобы получить максимальное количество научных титулов, приобрести репутацию самого герметичного поэта, ощупать глазами наибольшее количество стран, континентов, пейзажей... Ну а тот, кому все это недоступно – а их абсолютное большинство, помещает свою личность в собирательное существо разных народных идеологий, которые коллективно гордятся, властвуют, национально мыслят, движут историей, радуются быть некоей силы частицей...

Сколько страстей, столько *опоясаний*...

Известно, что Лев Толстой, напечатав «Войну и мир», а затем «Анну Каренину», прошел через невероятной остроты кризис, о котором он рассказал в своей «Исповеди»: «Ну хорошо, – допрашивает он себя, – у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?... И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше... Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире – ну и что ж!»

«Если бы пришла волшебница, – продолжает Толстой, – и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать... Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели... Мысль о самоубийстве пришла ко мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни».²⁵

Ибо после того, как все «яства земные» становятся человеку доступны, наслаждаются его тело, насытят очи, удовлетворят самые неразглашаемые помыслы, тогда необъяснимо, исподволь его настигает какая-то тяжелая, убивающая тоска. Кто не слышал о тяжелых депрессиях тиранов, о «зубной боли в сердце» (Гейне), сводящей с ума именно тех, о ком говорится: «Ну чего ему еще не хватало!» Не вас, кого судьба ежеутренне загоняет в тесное метро и несет на постыльную работу, а вот скорее тех, кто сам лихо погоняет и своими, и чужими судьбами, но притом – по словам Цветаевой – «и целует и пьет насильно». *Вы роскошествовали на земле и наслаждались*, – говорит апостол Иаков, – *напитали сердца ваши, как бы на день заклания* (5, 5). Этот избыток пищи для тела и духа не может вместиться в нас, и вот-вот готов низвергнуться вон. Переедание, далеко не только физическое, может вызвать неодолимую тошноту от самого себя. Есть тошнота изобилия от расширения своего я... От того, что некуда от него деться, ощущение, знакомое каждому человеку, хотя и куда в более слабой степени. И вот из этой тошноты, вину за которую мы склонны валить на тело, и рождается тяга к самоубийству.

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти! (Рим. 7, 24), – нет-нет да вздохнет, словно скрипнет что-то в каждом из нас. Однако тело – лишь инструмент, и Павел знал это лучше нас, ибо человек весь целиком создан по образу Божию, Бог же есть Дух. Человек – это дух, имеющий в своем распоряжении тело, но при этом желающий добавить к телесной своей собственности еще множество других приобретений. Эти приобретения дают ощущение власти тому отчаявшемуся я, которое живет, движется, действует в теле смерти. И все же это отчаяние апостола Павла, Льва Толстого (имевшего мужество смертной тоской себя судить, а не строить на ней «художества») и стольких других есть в то же время и начало нашего спасения, благого нашего обнищания перед Богом. Мы пробуждаемся от самих себя, стряхиваем свою одержимость владеть и потреблять, изгоняем божка, желающего превратить мироздание в свою вотчину. Когда-то мы отведали не тех плодов и теперь не знаем, куда нам деться от того проглоченного наспех кушанья. Мы оказались втянуты в какие-то отношения с тенями, отбрасываемыми нашим я, и, куда ни оглянись, вся вселенная теперь их темница.

Речь не идет о простом эгоизме, который в каком-то смысле отвечает естественному порядку вещей, *ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти* (Еф. 5, 29), ни даже эгоизме (слово, предложенное Стендалем), означающем навязчивое желание «высказывать» себя всем и во всем. Ведь оба этих порока суть лишь орудия того хитрого господина, который ползает на брюхе (Быт. 3, 14) и подает оттуда советы. Можно говорить о духовной топонимике нашего существа; не ее ли имел в виду ап. Павел, сказавший: *бог их – чрево* (Фил. 3, 19). И бог сей не терпит соперников, хочет вытеснить их из сердца, подчинить его своим чревным законам. Змей обещал, что мы станем *как боги, знающие добро и зло* (Быт. 3, 5), т. е. станем

²⁵ Исповедь // Собр. соч. в 22 томах. Том XVI. – М., 1983, стр. 116.

как он, значит, будем ползать чревом по земле, собирая с земли свои знания пожирающими глазами, уточняя ими свое я, присоединяя видимый мир к своей плоти, к своим помыслам и владениям. Пожираемое нами бывает сладким в устах, но горьким во чреве. Столь горьким, что горечь набитой нашей самости подталкивает нас к смерти.

Но даже и мысль о ней тоже может стать одним из наших капиталов, ибо наша боль облекается в идеи. «Как можно верить в Бога и выносить идею, что я не бог», – спрашивает Кириллов в «Бесах» и затем кончает с собой. Достоевский понял дилемму, поставленную змеем: убить себя, чтобы стать богом.

Помню, несколько лет назад я забрел в какой-то книжный магазин в Латинском квартале, взял книгу с полки наугад, случайно раскрыл и прочел: «Мечта моей жизни: основать религию, самому стать религией», – писал молодой французский писатель, начинавший уже входить в моду, а затем вдруг покончивший самоубийством. Что значит «основать религию»? А вот что: спроектировать свое я на некий небесный, трансцендентный экран. Убежать из своей внутренней тесной тюрьмы, сделаться неким мистическим, сверхбогатым, сверхмогущим *сверх-я*, и пусть замороженные, околдованные человеческие стада приносят жертвы и упования к алтарю этого бога, и дары эти станут целиком «его». «А ведь сумасшедший этот проект не столь уж и безумен, – подумалось тогда, – он вполне реализуем и даже на свой лад политически удобен». Но едва став реальностью, он уже несет в себе ростки своей гибели. Что-то разрывает его изнутри. Разве сущность тоталитарных конструкций XX столетия не вытекала из этой мании овладеть миром, заключить его в «бога-чрево»? Чрево называлось Партией и Народом, слитыми в одном родном беспощадном хозяине, воплощающем некое высшее я, спаянное государственным верованием. И разве коммунизм или нацизм не были изваяниями некоего абстрактного идола, который запихивает в свое чрево все видимое и невидимое, знаемое и неизвестное? И тот, и другой заключали свою вселенную в клетку солипсизма, в котором некое собирательное «я» не видит ничего вокруг, кроме своих отражений и в конце концов принимает гибель от своих теней.

«Гибельное несчастье я, – говорит Симона Вейль. – Оно разрушает реальность, отнимает реальность от мира. Погружает его в кошмар».²⁶

Вот почему иная мудрость начинается со столь странного открытия: подлинное искусство быть человеком заключается в том, чтобы быть малым. Стать как зерно горчичное, стяжать свою нищету и пройти ее до конца. Положить ее к стопам Божиим. Убрать *опоясання* одно за другим. Никакая техника или медитация не выдаст нам секрета этого искусства. Оно начинается с отказа от обладания. *Не собирайте себе сокровищ на земле*, – говорит Иисус (Мф. 6, 19), даже самых высоких, метафизических сокровищ. Не превращайте мир Господень в частную собственность разбогатевшей души, не пытайтесь уместить его в своем или коллективном чреве. Позвольте Богу войти свободно в ваше сердце, дайте ему для этого обнищать, остаться нагим. *Ему расти, а мне умаляться*, как говорит Иоанн Креститель (Ин. 3, 30).

Такова формула обретения в себе человека. Она выражает опыт, противоположный «доктрине змея», обещавшего, что мы сравнимся с Богом в Его всезнании и владении. Но когда иллюзия такого равенства овладевает нами, хочется отменить и Его, и себя. Умаляться сегодня, в новом тысячелетии Христовом – значит отказаться от видения мироздания как продолжения своего перестраивающего, перекраивающего творение я. Вернуться к своей изначальной сути, к тому малому зерну Света, из которого может вырасти в нас ошеломляющее присутствие Духа, ныне лишь неизреченно *ходатайствующего* в темнице...

Дух Господень... помазал Меня, – говорится в книге пророка Исайи, которую Иисус открывает в синагоге Назарета, – *благовествовать нищим..., проповедовать пленным освобождение..., отпустить измученных на свободу...* (Лк. 4, 18).

²⁶ Simone Weil. Cahiers. II. – Paris, 1972, стр. 266.

Повиноваться молитве

...*Бог созда человека в нетление во образ подобия Своего сотвори его* (Прем. 2, 23).

Но в чем же состоит нетленный *образ подобия Божия*, проступающий вдруг иногда через все, что тленно в человеке? И почему существование наше берет начало от этого образа? Ответ Писания прост и загадочен: ...*потому что Бог есть любовь*, потому что *любовь от Бога* (1 Ин. 4, 7-8). О любви Бога принято витийствовать больше и дольше, чем нужно. Между тем исток ее – в тишине. Когда она и вправду открывается нам – «да молчит всякая плоть человека». Она как дождь; капли ее образуются там, где мы не видим, падают сверху, уходят в землю. Но от дождя остается след. Любой предмет, всякое дыхание, сколь бы оно ни казалось высушенным, еще хранит в себе нестираемый остаток его влаги. Капли собираются в ручей, ручьи сливаются в поток, бегущий через (или мимо) нас к тому вселенскому океану, который вздымается и вздыхает вокруг.

Для человеческой любви прозорливый язычник Стендаль нашел образ, который когда-то запомнился мне. Он сравнил ее с кристаллизацией. Если опустить веточку в перенасыщенный раствор, она покрывается кристаллами. «Раствор» нашего существования всегда перенасыщен самыми различными веществами. Некоторые из них ядовиты, другие благодатны, но не всегда их легко различить, потому что они примешаны к самым естественным чувствам. Наши реакции на окружающий мир определены этими веществами, они погружаются в них и пропитываются ими. Каждое соприкосновение с конкретным объектом, обретающим форму вовне или внутри нас (событием, впечатлением, встречей), вызывает мгновенный процесс кристаллизации при контакте с веществом, в данный момент более активным. Когда одолевает гнилостный яд, человек костенеет во зле под бесчисленными его масками, когда любовь берет верх, она кристаллизуется в делах, которые он творит, в именах, которые произносит. *Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.